



Андре Моруа

Литературные портреты:
В поисках прекрасного

{ Биографии,
автобиографии,
мемуары }

Андре Моруа
Литературные портреты:
В поисках прекрасного
Серия «Биографии,
автобиографии, мемуары»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=119646

*Литературные портреты. В поисках прекрасного: КоЛибри, Азбука-Аттикус; Москва; 2021
ISBN 978-5-389-20367-9*

Аннотация

Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку, посвященному тому или иному коллеге по цеху, – не было случайным. Объединяя очерки в циклы, Моруа выстраивал свою историю развития литературы. В этой книге объединены литературные портреты

преимущественно французских писателей (Вольтера, Руссо, Стендаля, Бальзака, Флобера, Валери, де Сент-Экзюпери и др.), но есть в ней и очерки о Гёте, Диккенсе, Льве Толстом. Объективность и эрудиция ученого органично сочетаются в них с мастерством изложения и точностью психологических наблюдений. Моруа великолепно передает противоречивость характеров своих героев и раскрывает сложную природу творчества. Настоящее издание составили два авторских сборника 1964 года – «От Лабрюйера до Пруста» и «От Пруста до Камю».

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Содержание

От Лабрюйера до Пруста	6
Вступительная заметка[1]	6
Кардинал де Рец. «Мемуары»[2]	8
Лабрюйер. «Характеры»[21]	24
Фонтенель. «Беседы о множественности миров»[36]	46
Вольтер. Романы и повести[48]	62
Жан-Жак Руссо. «Исповедь»[64]	81
Ретиф де ла Бретон. «Совращенная поселянка»[84]	102
Лакло. «Опасные связи»[104]	127
Гёте. Решающий поворот в его жизни, или Судьба, две женщины и одна карета[112]	154
Джакомо Леопарди[126]	174
Шатобриан. «Замогильные записки»[169]	224
Конец ознакомительного фрагмента.	243

Андре Моруа

Литературные портреты.

В поисках прекрасного

André Maurois

DE LA BRUYERE A PROUST

DE PROUST A CAMUS

Copyright © 2006, The Estate of André Maurois, Anne-Mary Charrier, Marseille, France

Published by arrangement with SAS Lester Literary Agency & Associates

© Е. Д. Богатыренко, перевод, 2021

© И. Н. Васюченко, перевод, 2021

© Н. Н. Вернер, перевод, 2021

© Я. З. Лесюк (наследник), перевод, 2021

© В. А. Петров, перевод, 2021

© Ю. М. Рац, перевод, 2021

© К. А. Северова (наследник), перевод, 2021

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство КоЛибри®

От Лабрюйера до Пруста

Вступительная заметка¹

Ревностный читатель, мой собрат и друг, ты найдешь здесь несколько очерков о книгах, всю жизнь даривших мне неисчерпаемое наслаждение. Хотелось бы думать, что мой выбор совпадет с твоим. Не стану утверждать, будто успел рассказать о всех прославленных книгах, но каждая из тех, о которых здесь заходит речь, представляется мне в чем-то великой. Расположив эти очерки в хронологическом порядке, я даже испытал счастливое изумление: оказалось (если уподобить изящную словесность горному хребту), в поле моего зрения попали высочайшие вершины. Переходя от «Исповеди» Руссо к «Замогильным запискам» Шатобриана, от Реца – к Стендалю, от «Отца Горио» – к «Госпоже Бовари», от Вольтера и Гёте – к Толстому и Прусту, мы следуем дорогой, которую озаряют ярчайшие путеводные светочи. Я постарался рассказать, чем восхищает меня стиль этих мастеров слова. Ты, может статься, найдешь для любви к ним другие причины. Но будешь ли ты в своих мыслях со мной заодно или против меня, в любом случае тебе предстоит про-

¹ Перевод И. Васюченко.

вести несколько часов, дыша воздухом горных вершин. А он для здоровья полезен.

А. М.

Кардинал де Рец. «Мемуары»²

Жан Франсуа Поль де Гонди, будущий кардинал де Рец, родился в сентябре 1613 года в Шампани, в прекрасном замке Монмирай в двух десятках лье от Парижа. Замок этот высился на холме, травянистый склон которого террасами спускался к речке Пти-Морен. В день рождения мальчика там был выловлен осетр – совпадение, которое сочли добрым знаком. Семейство Гонди – флорентийцы, обосновавшиеся в Лионе и по воле Екатерины Медичи занимавшие высочайшие посты в королевстве. «Род, во Франции знаменитый», и, по определению кардинала, «древний в Италии». Этого последнего мнения придворный знаток генеалогии не разделял. Однако если насчет древности рода позволительно усомниться, то дворянство Гонди было реальным, ведь недаром же близ устья Луары специально для них было учреждено герцогство де Рец (или де Рес). Гонди дважды становились столичными архиепископами. «Парижское архиепископство – удел нашего рода», – заявляет автор «Мемуаров», а коль скоро он был младшим сыном, обычай и воля отца настоятельно требовали, чтобы он вне зависимости от своих склонностей избрал карьеру священнослужителя.

Рос он сначала в Монмирае, потом в Париже, где его

² Перевод И. Васюченко.

воспитанием занялся месье Венсан де Поль³. Последнему не удалось сделать из своего ученика святого. Юный Гонди восхищался Цезарем и в восемнадцать лет, следуя итальянским образцам, сочинил трагедию «Заговор Фиеско», где уже вполне проявилась своеобразная мощь его стиля. Не жалея усилий, портил себе репутацию галантными похождениями и дуэлями в надежде избежать уготованной ему сутаны. Но «победить судьбу» не смог.

Осознав, что обречен принадлежать церкви, он решил по крайней мере служить ей с блеском: «занял первое место, сдавая в Сорбонне экзамен на степень лиценциата», стал почитаемым проповедником, обратил в католичество одного гугенота, и в 1643 году Анна Австрийская назначила его коадьютором (заместителем архиепископа) Парижа в сане архиепископа Коринфского *in partibus* (то есть только номинально), что являлось, по сути, синекурой. Ему было в ту пору двадцать девять лет. Тем и кончается первая часть его «Мемуаров», к несчастью сохранившаяся лишь в виде фрагментов.

Вторая часть посвящена истории Фронды. Она дошла до нас полностью. Гонди, сначала как коадьютор, позже как архиепископ Парижский, благодаря терпимости, красноречию, умению налаживать неофициальные связи с чиновной вер-

³ *Венсан де Поль* (св. Викентий де Поль; 1581–1660) – католический святой, основатель конгрегации лазаристов и конгрегации дочерей милосердия.

хушкой столичных кварталов стал влиятельной церковной и политической фигурой. Он затеял сперва подспудную, а затем открытую борьбу с кардиналом Мазарини. Гонди разжег бунт против министров поначалу в парламенте, потом и на парижских улицах. После возвращения королевского двора в столицу Гонди получил кардинальскую мантию и добился изгнания Мазарини. Но такой успех был чреват опасностью. В стране, где правит женщина, притом еще не старуха, политическая победа – звук пустой, если она не подкреплена благосклонностью государыни. Мазарини, даром что побежденный, сосланный, остался более могущественным, чем победоносный, не покидавший столицы Гонди. В 1652 году кардинал де Рец был взят под стражу, заточен в Венсенский замок, и Париж не встал на его защиту. Его отправили в Нант, в крепость. Он бежал оттуда, вывихнув при падении с лошади плечо, но после ряда удивительных походов в конце концов добрался до Италии.

Третья часть «Мемуаров» не закончена. Она содержит только рассказ о прибытии кардинала в Италию и восхитительное описание папского конклава.

В 1661 году после смерти Мазарини кардинал де Рец согласился сложить с себя сан архиепископа Парижского – при жизни покойный министр тщетно добивался от него этой отставки. Обеспечив себе таким образом примирение с королем, он удалился в свое поместье Коммерси, что в Лотарин-

гии, где неизменным благоразумием поражал Францию, которая так долго дивилась его безумствам. «Если смолodu он жил как Катилина, то на склоне дней уподобился Аттику»⁴, – писал Вольтер, сравнивая его здесь с известным римским ученым и писателем, другом Цицерона.

Де Рец часто посещал Париж, где у него оставались очень близкие друзья. Госпожа де Севинье⁵ предпринимала усилия, чтобы развлечь его: «Мы стараемся забавлять нашего милого кардинала. Корнель читал ему пьесу, которую вскоре сыграют на театре, она будит воспоминания о драмах его юности. В субботу Мольер прочтет ему „Триссотена“⁶, очень занятную вещь. Буало Депрео подарит ему свой „Налой“ и „Поэтическое искусство“. Вот и все, что можно сделать, чтобы его потешить».

Еще не раз он побывает в Риме, в частности на конклаве 1667 года, где происходило избрание папы Климента IX⁷. Частенько он наезжал туда с какой-либо дипломатической миссией, весьма ловко защищая интересы Франции. В 1675-

⁴ Катилина Луций Сергий (ок. 108–62 до н. э.) – римский политический деятель, глава заговора против республиканского строя; имел репутацию алчного и распутного человека; адресат обвинительных речей Цицерона. Аттик Тит Помпоний (109–32 до н. э.) – богатый, но скромный эпикуреец, друг Цицерона и адресат его писем.

⁵ Севинье Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де (1626–1696) – писательница, автор знаменитых «Писем» (1-е изд. 1726).

⁶ Имеется в виду комедия Мольера «Ученые женщины» (1672), одним из персонажей которой является Триссотен.

⁷ Климент IX (1600–1669) – папа римский с 20 июня 1667 г.

м он хотел было сбросить с плеч кардинальский пурпур, испрашивал на то благословения папы, но получил отказ. В том же году он предоставил все свои доходы в распоряжение кредиторов. Скончался де Рец в 1678 году в Париже, в особняке своих племянников Ледигьеров⁸, согласно свидетельству Сент-Бёва⁹, оставив по себе память «как о человеке самом любезном, приятнейшем в общении и безупречном, прекрасном друге»...

Жизнь этого человека – необычайный, приключенческий сюжет, но история его книги не менее удивительна. «Мемуары» вышли в свет в 1717 году. Тотчас несколько малоизвестных критиков выразили сомнение в их подлинности. «Кто нам докажет, что так и есть?» – вопрошали они. Да и вправду ли Рец писал воспоминания? Даже его ближайшие друзья, похоже, понятия об этом не имели. Госпожа де Севинье еще в 1675-м говорила: «Настоятельно советуйте ему взять на себя труд записать свою историю и тем самым хорошенько позабавиться. Друзья упорно побуждают его к этому...» Стало быть, они склоняли его к написанию книги, но он не послушал или, если и сделал это, она о том не знала.

Однако в «Истории Лотарингии» отца Кальме¹⁰, учено-

⁸ *Де Ледигьер* – герцогский род (с 1611).

⁹ *Сент-Бёв Шарль Огюстен де* (1804–1869) – литературный критик и поэт.

¹⁰ *Кальме Огюстен* (1672–1757) – аббат-бенедиктинец, историк и богослов, автор книги «Церковная и гражданская история Лотарингии» (1737).

го бенедиктинца, читаем: «Пребывая в Коммерси, он сочинил свои „Мемуары“, которые были опубликованы в трех томах в Нанси в 1717 году. Их оригинал, писанный собственноручно, хранится в аббатстве Муаенмутье». Не успел появиться тот первый трехтомник, а принцесса Палатинская¹¹, вторая жена герцога Орлеанского, уже пишет из Германии: «У монахов обители Сен-Мийель имеется оригинал „Мемуаров“ кардинала де Реца. Они его отдали в печать и продают в Нанси, но в этом экземпляре многого недостает. Между тем в Париже есть одна особа, некая мадам Комартен, которая располагает манускриптом, где ни единого слова не пропущено. Однако она упорно отказывается выпускать его из рук, хотя с его помощью можно было бы восполнить то, чего недостает в других».

Отец Кальме и принцесса Палатинская не ошибались. Во время Революции рукопись «Мемуаров» и впрямь была найдена в монастыре города Муаенмутье, ее тогда передали в распоряжение министерства внутренних дел, и она, пережив затем довольно продолжительные странствия, обрела приют в Национальной библиотеке. Что до госпожи де Комартен, которую долго считали адресатом «Мемуаров», то она владела не оригиналом, а лишь набело переписанной копией, которую сама в свой черед поручила переписать еще раз. От нее-то сочинение и попало к книготорговцам, которые его

¹¹ *Елизавета Шарлотта Пфальцкая* (1652–1722) – немецкая принцесса из рода Виттельсбахов, жена Филиппа I Орлеанского.

издали.

Немудрено, что вокруг всех копий этой книги, которая никак не могла быть опубликована при жизни Людовика XIV, сгустилась атмосфера глубочайшей таинственности. В ту эпоху почтение к монархии возросло настолько, что старым парижанам, свидетелям Фронды, оставалось только дивиться, а эти воспоминания о днях, когда король и его мать, не одержавшие верх, были вынуждены бегством спастись из Парижа, показались бы преступными. К тому же для самого кардинала, решившего отныне вести жизнь праведника, что одни осуждали как лицемерие, а другие, более осведомленные, считали искренним, было естественно стараться скрыть от мира рассказ о безумных деяниях своей юности.

Сочинялось ли это повествование на последнем, мирном и уединенном этапе его жизни? Представляется более вероятным, что оно, хотя бы в набросках, возникло раньше. Страсти, что выразились там, еще слишком пылки. Безмятежность старости не успела наложить отпечаток на манеру автора. Факты, разговоры, встречи воспроизведены с такой точностью, какой трудно достигнуть даже спустя несколько дней или месяцев после события, а лет через двадцать пять – тридцать это становится попросту немыслимым. Но можно предположить, что кардинал в своем уединении в Коммерси, опираясь на дневниковые записи, старые заметки и официальные протоколы заседаний парламента, взялся перерабо-

тать давнюю рукопись, дабы придать ей более совершенную форму.

Сам ли он из соображений щепетильности упразднил фрагменты, которых нам теперь недостает? Или мемуариста на склоне лет окружали набожные советчики, которые настояли на этих изъятиях, а то и сами после его смерти кое-что уничтожили? Мы того не знаем, но смутно чувствуем, что за кончиной этого странного и очаровательного старца кроется какая-то тайна, может статься, там даже без борьбы не обошлось. Бывает, что друзья выдающегося человека ставят его величие на службу своим амбициям. Кое-кто из бывших участников Фронды мог желать, чтобы де Рец посмертной публикацией своих «Мемуаров» в один прекрасный день оправдал бунтарские деяния их общей молодости. Другие же, быть может, напротив, хотели заставить этот мятежный дух смириться перед Господом.

Жан Шлюмберже¹² написал о смерти кардинала де Реца превосходный роман «Состарившийся лев». Там он, пользуясь правом на вымысел, выдвигает ряд гипотез, которые нельзя признать историческими фактами за невозможностью подкрепить их известными документами, однако они правдоподобны и интересны. Существует блистательный анализ структуры и стилистики рукописей «Мемуаров»,

¹² Шлюмберже Жан (1877–1968) – писатель, автор романа «Состарившийся лев» (1924).

он принадлежит Альфонсу Фейе¹³ и опубликован в серии «Великие писатели» в качестве предисловия к их изданию.

Для любителей заглядывать в глубины душ человеческих история кардинала де Реца представляет целый ряд пикантных и любопытных проблем. Среди его современников не нашлось второго столь проницательного историка, ни один из них с такой ясностью не осознал, до чего разладился механизм королевской власти в годы детства и отрочества Людовика XIV, никому не удалось точнее оценить и лучше описать не только ведущих деятелей Фронды, но и политиков других эпох.

«Мемуары» изобилуют сентенциями, которые поныне так же верны, как в 1640 году, умозаключениями столь же глубокими и дерзновенными, как максимы Макиавелли¹⁴, и более впечатляющими, поскольку они конкретнее. Их там встречаешь на каждой странице: «Залог успеха тех, кто вступает в должность, – сразу поразить воображение людей поступком, который в силу обстоятельств кажется необыкновенным»; «Я оказывал почет всем, кто посещал мой дом... и таким способом снискал в глазах многих репутацию человека учтивого, а в глазах некоторых – даже смиренного»; «...никакие силы в мире не властны повредить доброму имени того, кто

¹³ *Альфонс Фейе* – издатель, первым начавший полное издание сочинений Реца в серии «Великие писатели» в 1870 г.

¹⁴ *Макиавелли Никколо* (1469–1527) – итальянский писатель и политический мыслитель.

сохранил его в собственной среде» (здесь, естественно, подразумевается сообщество тех, кто занят одним делом: репутация депутата среди других парламентариев, врача — в глазах других врачей и т. п.); «Народ вторгся в святилище: он сорвал покров, который во веки веков должен скрывать все, что можно сказать, все, что можно подумать о праве народов и о праве королей, согласию которых ничто не содействует так, как умолчание»; «Люди подобного склада сами ничего не способны исполнить и посему готовы советовать всем».

Никогда еще столь острый ум не упражнялся в рассуждениях на политические темы и в плетении интриг. Стоит перечитать хотя бы его бесподобное описание Франции времен Мазарини. Невозможно вообразить более впечатляющую картину того, что творилось в стране на пути от анархии аристократической и вместе с тем буржуазной к абсолютизму, всю власть сосредоточившему в центре. Чем объяснить, что столь гениальная одаренность не привела этого человека к успеху, что карьера великого политика завершилась политическим крахом? Ведь Рец ничего не построил, он даже не разрушил ничего. Жаждал славы, а снискал ее лишь после кончины, да и пришел к ней окольным путем. Имел честолюбивые притязания как священнослужитель, метил высоко и как мирской деятель, но не стал ни выдающимся министром, ни великим пастырем. Почему?

Заметим, как это поразительно: три самых тонких теоретика карьеры, может статься, сильнейшие из всех честолюб-

цев – Рец, Макиавелли, Стендаль – потерпели поражение в своих практических начинаниях. Позволительно, чего доброго, заключить, что чрезмерно живой ум – не самое лучшее оружие в борьбе этого рода. Люди с таким темпераментом выводят из своих наблюдений прекрасные максимы общего порядка, охотно вдохновляются блистательной формулировкой, готовы применить ее на практике. Но разум способен на масштабные ошибки, и самые смелые умозаключения заводят в тупик того, кто принимает их за абсолютную истину. Интеллект успешно рождает идеи общего порядка, а действовать приходится, не иначе как исходя из конкретных обстоятельств.

(Не привести ли здесь пример рискованных максим подобного рода? Скажем, такой: «Громкие имена всегда кажутся убедительным доводом мелким душонкам». Фраза принадлежит Рецу, и она великолепна, но идея ошибочна. Ведь Ришелье и Мазарини – носители великих имен; если бы они и впрямь послужили ему ориентиром, он бы действовал успешнее. Стало быть, блестящая формулировка не обязательно верна.)

Рец усердно штудировал Плутарха, читал «Заговор Фиско» Маскарди¹⁵. Он восхищался выдающимися людьми прошлого, стремился подражать им. Такой образ действия порой ведет к успеху, но годится лишь для натур практических, наделенных даром терпения, для тех же, кто воспри-

¹⁵ Маскарди Агостино (1590–1640) – итальянский писатель.

нимает избранные примеры некритично, без корректировки, этот путь фатален. Будучи еще совсем юным, Рец так отвечает старому другу, упрекнувшему его за то, что он чересчур сорит деньгами: «Я прикинул: у Цезаря в мои лета долгов было вдесятеро больше». Между тем еще Паскаль заметил, что нам хочется подражать великим людям не столько в их добродетелях, сколько в слабостях. Невежда подчас имеет перед культурным человеком то преимущество, что не ищет себе образцов среди обитателей могил.

Рец, Макиавелли, Стендаль – все трое были циниками. Это расположение духа и опаснее, и обаятельнее лицемерия. Циник высказывает вслух то, о чем другие думают. Это не преступление, это ошибка. С одной стороны, он и впрямь подставляет себя под удар: лицемеру легко, прикрываясь благочестивыми речами, разить своего незащищенного противника. С другой – и это куда серьезнее, – циник лишает себя права на подлинную добродетель, он вынужден довольствоваться половинчатой добродетелью, которая для него не что иное, как искренность, вызывающая мало интереса. Вот почему он редко достигает успеха, и это справедливо.

Подлинный честолюбец не ведает того отстраненного интереса к драме бытия, что присущ Стендалю или Гонди. Для них жизнь – театр. Они не в состоянии отрешиться от этой метафоры. Рец, описывая конклав, говорит: «Все актеры отлично сыграли свои роли, театр был полон, действие не слишком разнообразно, но пьеса была хороша, тем более

что отличалась простотой...» Попробуйте сравнить это умонастроение с восприятием человека, которого этот же конклав изберет папой, – кардинала Киджи¹⁶, который «проводил все время в своей келье, отказываясь даже принимать посетителей». Истина в том, что приходится выбирать между радостями жизни и успехом. Сам Рец в старости прилежно отдавался труду, он больше не жил – он писал. Потому-то мы все еще восторгаемся им.

В свои цветущие годы он избрал жребий искателя приключений. Сент-Бёв характеризует его как прирожденного авантюриста, любившего действие ради действия, а не во имя результата. С таким темпераментом не уподобишься Мазарини, зато можно, пожалуй, стать человеком гораздо более обаятельным. «Он внушал любовь, потому что сам любил и умел любить». Эта фраза прозвучала в надгробной речи, посвященной кардиналу де Рецу. Печаль его друзей, по-видимому, доказывает, что это правда. Такие неугомонные путаники зачастую очень симпатичны хотя бы тем, что «не ведают зависти и жадности», и люди охотно платят приятную тем, кто тревожит монотонное течение их мелочно упорядоченной жизни, привнося в нее освежающее волнение и малую толику возвышенного.

С натяжкой можно назвать де Реца политиком. Мазарини, не в пример ему, был воплощением порядка и мира, необ-

¹⁶ *Киджи Фабио* (1599–1667) – с 1655 г. папа римский под именем Александра VII.

ходимого королевству. Зато невозможно не признать, что он был одним из величайших писателей Франции. Хотя, к досаде некоторых особенно ревностных почитателей, он не снискал литературной известности, равной той, что выпала на долю Сен-Симона¹⁷, его сближает с последним доходящее до излишества богатство стиля – особенность человека, который много повидал и, следовательно, готов поведать о многом. Будучи ближе к XVI веку, чем Сен-Симон, он сохраняет унаследованную от Монтеня¹⁸ вольную пышность стиля, красочность, изящный строй речи. Примеры тому находим на любой странице: «Мое преступление... было тем тяжелее, что я изо всех сил усугублял его... широкой раздачей милостыни, щедростью, зачастую потаенной, но вызывавшей порой отзыв тем более громкий». В своих инвективах, направленных против людей, которых он не жаловал, Рец достигал сен-симоновской яростной силы: «Герцог де Бофор...¹⁹ вбил себе в голову, будто станет править королевством, на что был способен менее, нежели его лакей. Епископ Бовезский²⁰, самый глупый из всех известных вам глупцов, сделал-

¹⁷ *Сен-Симон Луи де Ровруа*, герцог де (1675–1755) – автор мемуаров о временах Людовика XIV и Регентства.

¹⁸ *Монтень Мишель де* (1533–1592) – философ и писатель, автор «Опытов».

¹⁹ *Бофор Франсуа де Бурбон-Вандом*, 2-й герцог де (1616–1669) – внук Генриха IV, один из вождей Фронды.

²⁰ *Потье Огюстен* (Потье де Бланмениль; ок. 1556–1650) – епископ в Бове (1617), духовник Анны Австрийской, назначенный в 1643 г. первым министром; был удален после возвышения Мазарини.

ся первым министром...» А вот и про Мазарини: «На ступенях трона, откуда суровый и грозный Ришелье не столько правил смертными, сколько их сокрушал, появился преемник его, кроткий, благодушный, который ничего не желал, был в отчаянии, что его кардинальский сан не позволяет ему унизиться перед всеми так, как он того хотел бы, и появлялся на улицах с двумя скромными лакеями на запятках своей кареты».

Сочная сжатость, четкость этих фраз, достойных Тацита, поистине великолепна: «Кардинал де Ришелье любил остро-ты, но не терпел, когда они были обращены против него»; «При Карле IX и Генрихе III двор так устал от смуты, что все, не бывшее покорностью, почитал бунтовщицеством»; «...на улицах не видно ни души, все успокоилось, и завтра можно будет вздернуть кого угодно».

Рецу, как и Сен-Симону, свойственно качество, которое долгое время делало французский язык таким же прекрасным, как латынь: некоторая затемненность и вместе с тем прозрачность. Это следствие предельной насыщенности фраз и отказа от повторения слов, без которого читатель с живым умом легко обходится: и так понятно, о чем речь. Позже, начиная с XVII века, никто уже не осмеливался подменять местоимением слово, о котором приходится догадываться. Но Рец еще решается писать: «Вас не должно удивить, как (век спустя дописали бы: „удивляет“) всех прочих, что герцога де Бофора заключили в тюрьму при дворе, где из

темниц только-только вышли (он не уточняет: „на свободу“)
все без изъятия».

Пруст в своих заметках «Пастиши и смесь», завершающих его книгу «Против Сент-Бёва», замечает, что очарование, которое он находит в некоторых строках Расина, именно в том и состоит, что там умышленно нарушены привычные синтаксические связи. Самые знаменитые расиновские стихи оттого и стяжали славу, что пленяют этакой фамиллярной непринужденностью фраз, переброшенных, словно дерзостный мостик, меж двух сладостно гармоничных берегов: «Ведь даже и сейчас, когда так низко, гадко // Ты поступил со мной, я – та же, что была».

У Реца дерзостей такого рода полным-полно. Вскормленный Тацитом, ступивший на стезю сочинительства на полпути между Монтенем и Сен-Симоном, этот кардинал-рыцарь остается для нас великим французским прозаиком.

Лабрюйер. «Характеры»²¹

Мне неведомо, какими станут люди, которым выпадет жить через две тысячи лет. Я не знаю, будут они прозябать в состоянии жалкого варварства или благодаря чудесам науки завладеют другими планетами и поставят себе на службу силы, заключенные в материи. Я не берусь гадать, свободу они для себя изберут или рабство, будет ли у них всеобщее процветание, или они станут делить свои блага. Одно могу предсказать, не опасаясь ошибки: люди эти будут похожи на тех, кого живописует Лабрюйер. Среди них найдутся униженные и надменные, мощные умы и благочестивые сердца, среди них будут жить легкомыслие, тщеславие, скрытность, рассеянность, зависть, ненависть, а подчас даже величие, ибо они, что бы там ни было, люди.

«Мы, ныне столь современные, через несколько столетий окажемся древними», – писал Лабрюйер и спрашивал себя, что скажут потомки о продажности должностных лиц французского золотого века²², о финансистах, утопающих в роскоши, об игорных домах, о боевом оружии, которое у придворных всегда под рукой. И вот теперь мы с вами, а мы и

²¹ Перевод И. Васюченко.

²² *Золотой (Великий) век* – традиционно выделяемый во французской историографии период правления трех первых королей династии Бурбонов: Генриха IV (1589–1610), Людовика XIII (1610–1643) и Людовика XIV (1643–1715).

есть то самое потомство, для которого Лабрюйер стал классикой и стариной, без малейшего изумления читаем у него о том, что наблюдаем и в наше время, причем к былым несуразностям прибавились новые, еще более поразительные. И у нас в свой черед есть причины опасаться, что нынешние нравы внушат отвращение нашим правнучатым племянникам. История поведает им о том, как люди нашего времени с помощью летающих машин за несколько минут разрушали цивилизации, которые создавались веками. Она продемонстрирует им нашу экономику, столь путаную, что целые народы умирают с голоду на глазах соседей, не знающих, к чему бы приложить руки, и валютную систему, извращенную до такой степени, что одни в поисках золота долбят землю в Африке, а другие роют ямы в Америке, чтобы его закопать, и товарообмен, страдающий от недостатка судов, поскольку мы смело отправляли на дно океана флоты, создание которых стоило огромных затрат.

Они узнают, что наши улицы были такими узкими, что ходить по ним пешком было легче и быстрее, чем ездить на автомобиле, а наши дома в зимнее время не отапливались. Узнают, что мужчины и женщины подрывали свое здоровье и разум жуткой смесью напитков, что громадные средства уходили на выращивание растения, листья которого затем усилиями всех народов Земли превращались в дым, что наше представление об удовольствии сводилось к тому, чтобы проводить ночи в забитых людьми помещениях, любуясь,

как другие существа, такие же убогие, как мы сами, пьют, танцуют, курят. Потрясет ли наших потомков все это? Отвернутся ли они, не желая вникать в обычаи такого безумного мира? Не обольщайтесь. У них будут свои безумства, еще похуже наших. Они прочтут Лабрюйера, как он читал Теофраста²³. И скажут: «Смотрите, что за восхитительная книга: она написана два тысячелетия назад, а мы узнаем в ней самих себя, наших друзей и врагов, такому сходству между людьми, которых разделяют века, нельзя не подивиться».

Да, человеческая природа не изменилась со времен Лабрюйера. Двор больше не зовется двором, правитель уже именуется не королем, а лицом, облеченным властью, но у окружающих его льстецов и просителей нравы все те же. Разве не остается справедливым замечание, что «успех влияет на расположение людей, он их чарует, так что немного нужно для того, чтобы удачное злодеяние восхвалялось как подлинная добродетель». Разве не видели мы таких, кто, «оставшись с вами наедине, осыпают вас ласками», а на людях избегают «вашего взгляда или встреч с вами»? А кто не знает этого Демофила (в переводе с латыни – Народолюбца), который сетует, восклицая: «Все кончено, государство погибло!» – а сам прикидывает, куда бы переправить свои деньги, мебель и семейство?

²³ *Теофраст* (Феофраст; 372–287 до н. э.) – древнегреческий философ, автор книги «Характеры», послужившей образцом для Лабрюйера.

Читаем дальше: «Не ждите искренности, откровенности, справедливости, помощи, услуг, благожелательности, великодушия и постоянства от человека, который недавно явился ко двору с тайным намерением возвыситься. Узнаете вы его по речам, по выражению лица? Он уже перестал называть вещи своими именами, для него нет больше плутов, мошенников, глупцов и нахалов – он боится, как бы человек, о котором он невольно выскажет свое истинное мнение, не помешал ему выдвинуться... Он не только чужд искренности, но и не терпит ее в других, ибо правда режет ему ухо. С холодным и безразличным видом уклоняется он от разговоров о дворе и придворных, ибо опасается прослыть соучастником говорящего и понести ответственность». Не пробуждает ли этот портрет неких весьма близких ассоциаций? Мы говорим «достигнуть цели» вместо «выдвинуться», но разница лишь в словах – образ действия все тот же.

Характеры людей определяются и формируются их взаимоотношениями. Возьмите государя, его двор, подданных, прочее можно вычесть. Замените имя и титул властителя, назовите двор кабинетом или окружением – отношения от этого мало изменятся, те же причины будут приводить к тем же следствиям. Неизменность характеров – залог бессмертия того, кто их живописал.

Об этом авторе, столь знаменитом и так хорошо знавшем своих современников, эти последние не поведали нам почти

ничего.

Мало кто вел такую замкнутую жизнь. Это верный признак мудрости. «Не льстить никому, не ждать, чтобы кто-нибудь оказал вам внимание, – чудесное положение, золотой век, наиболее естественное состояние человека». Достигнуть подобного состояния в чистом виде, живя при дворе принца²⁴, Лабрюйер, разумеется, не мог, но по крайней мере он стремился приблизиться к нему. «Мне изображали его, – писал д'Оливе²⁵, – как философа, который не думает ни о чем, кроме спокойной жизни в кругу друзей и книг, отбирая лучшее среди тех и других, который не жаждет и не ищет никаких наслаждений, предпочитает скромные радости и умеет их извлекать, вежлив в манерах и умен в рассуждениях, лишен всякого честолюбия, желания показать свой ум». Суровый Сен-Симон и тот подтверждает этот лестный отзыв: «Это был исключительно честный человек, очень хороший друг, простой, без всякого педантизма и очень бескорыстный».

О нем известно лишь, что родился он в августе 1645 года в Париже и подписывался «Жан Делабрюйер», в одно слово, не выделяя дворянское «де», хотя и приобрел в Ка-

²⁴ Лабрюйер был воспитателем герцога Бурбонского, внука Великого Конде (см. далее).

²⁵ *Д'Оливе Пьер Жозеф Тулье* (1682–1768) – филолог и историк Французской академии.

не пост казначея Франции и принц Конде²⁶ по рекомендации Боссюэ²⁷ назначил его воспитателем юного герцога Бурбонского²⁸, своего внука. Опубликовано несколько писем, в которых Лабрюйер извещает Конде о том, как выполняется эта миссия. Послания точны, выдержаны в смиренном тоне. Должно быть, Лабрюйеру пришлось немало вытерпеть, живя в лоне семьи Конде, «столь знаменитой удачливыми вертопрахами, а также блестящей светскостью, жестокостью и разгульными нравами».

Из пребывания в этом доме Лабрюйер извлек много наблюдений над важными персонами и помазанниками Божиими. Но он всегда добросовестно выполнял свои обязанности, чередуя историю и географию, Декарта и Лафонтена. «Я отнюдь не упускаю из виду, – писал он Конде, – ни сказки, ни историю управления державой... и с утра до вечера размышляю о том, как принести ему больше пользы и сделать занятия менее тягостными для моего ученика». В награду за такое усердие семья Конде дала ему возможность до конца дней прожить с ними в Версале и обеспечила пенсией, которой хватало на его нужды.

Поскольку честолюбивых притязаний Лабрюйер не питал, он, может быть, и автором не стал бы, если бы сначала не за-

²⁶ Конде Людовик II де Бурбон, принц де (1621–1686) – первый принц крови, генералиссимус.

²⁷ Боссюэ Жак Бенинь (1627–1704) – религиозный деятель и писатель.

²⁸ Конде Людовик III де Бурбон, принц де (1668–1710) – принц крови и пэр.

нялся переводом «Характеров» Теофраста. «Чтобы достичь совершенства в словесности и – хотя это очень трудно – превзойти древних, нужно начинать с подражания им» – так он считал. Поэтому ему нравилось вставлять в текст античного автора свои оригинальные замечания. Получалось весьма удачно, новые издания переводов неожиданно обогатились свежими сентенциями и характерами, Теофраст оказался мало-помалу оттеснен на второй план, его захлестывали потоки новых рассуждений, изложенных искуснее и с большим блеском, чем его собственные. Так в возрасте сорока трех лет к Лабрюйеру внезапно пришла слава.

Первое издание «Характеров» увидело свет в 1688 году. А в 1693-м Лабрюйера удостоили членства в Академии, однако его вступительная речь успеха не имела. Холодный прием, оказанный ему, вызвали три обстоятельства. Во-первых, речь, надо признать, была и впрямь не из лучших: стремясь воздать хвалу членам почтенного собрания, он построил свое выступление как серию их словесных портретов, но то были отнюдь не шедевры, достойные такого большого писателя. Во-вторых, те из «бессмертных», кто, не удостоившись персональных комплиментов, был вынужден удовлетвориться безличными похвалами Академии в целом, были этим раздосадованы. И наконец, те несколько человек, которые полагали, и не без причины, что осмеянию в «Характерах» подверглись именно они, были рады, что подвернулся повод расквитаться. «Я только что выслушал, – сказал

Теобальд (считается, что это был Фонтенель)²⁹, – длинную, скверную и нудную речь, которая вызвала у меня неодолимую зевоту и надоела до смерти». На что Лабрюйер в «Предисловии к речи, произнесенной в Академии» резко ответил: мол, он убежден, что публика «еще не вконец одурманена и замучена усталостью, выслушивая в течение стольких лет карканье старых воронов вокруг тех, кто в свободном полете на легких крыльях своих писаний поднялся ввысь к некоторой славе».

Эта маленькая интрига – последнее дошедшее до нас событие его жизни, происшествиями не богатой. Лабрюйер умер в 1696 году от апоплексического удара, ему был тогда пятьдесят один год. «Я достаточно хорошо его знал, – говорит Сен-Симон, – и потому сожалею о нем и о тех трудах, которых при его возрасте и здоровье мы могли еще от него ожидать».

Не имея возможности узнать больше об этом человеке, можно попытаться восполнить недостающее, обратившись к его книге. Как мы уже сказали, он был философом. Это лишний раз подтверждает тот факт, что он никогда не был женат. Однако можно догадаться, что в дружбе он умел быть очень нежным и любовь была ему знакома не понаслышке. Тот, кто мог написать: «В истинной дружбе таится прелесть, непости-

²⁹ Фонтенель *Бернар Ле Бовье де* (1657–1757) – писатель и ученый. См. о нем следующий очерк.

жимая заурядным людям», или еще: «Чтобы чувствовать себя счастливым, нам довольно быть с теми, кого мы любим: мечтать, беседовать с ними, хранить молчание, думать о них, думать о чем угодно – только бы не разлучаться с ними, остальное безразлично», – такой человек обладал столь же утонченной душой, как и Стендаль. «На свете нет зрелища прекраснее, чем прекрасное лицо, и нет музыки слаще, чем звук любимого голоса». Тот, кто после этого усомнится, что Лабрюйер бывал влюблен, сам ничего не смыслит в любви.

Наделенный благородной душой, он презирал всякую низость: «Хорошее средство для того, кто впал в немилость у принца, – это уединение... Самый лучший способ для фаворита, подвергнувшегося опале, – не прятаться где-то в глуши, позволяя, таким образом, забыть о себе, а, наоборот, заставить наилучшим образом говорить о себе, бросившись, если возможно, в какое-нибудь благородное и отважное предприятие». Но относительно людей он не обольщался. Те, кого он наблюдал при дворе, иллюзий не внушали. Владея умением различать низкие, потаенные мотивы людских поступков, Лабрюйер был весьма едким сатириком, хотя и под личиной учтивости. Служил вельможам, но без подобострастия. «Я завидую их счастливой возможности иметь на своей службе людей, душевными качествами не ниже, а иногда и превосходящих их». Что-то в нем есть от Жюльена Сореля: «У народа мало ума, у вельмож – души; у первого – хорошие задатки и нет лоска, у второго – все показное и нет

ничего, кроме лоска. Если меня спросят, кем я предпочитаю быть, я не колеблясь отвечу: „Народом“».

Позиция довольно редкая по тем временам (впрочем, ее можно заметить также у Фенелона и Вобана)³⁰. Лабрюйер склоняется к народу, удивляясь и негодуя при виде его состояния: «Глянешь на иных бедняков, и сердце сжимается: многим нечего есть, они боятся зимы, страшатся жизни. В это же время другие лакомятся свежими фруктами; чтобы угодить их избалованному вкусу, землю заставляют родить круглый год. Простые горожане только потому, что они богаты, позволяют себе проедать за один присест столько, сколько нужно на пропитание сотне семейств. Пусть кто хочет высшаает голос против таких крайностей, я же по мере сил избегаю как бедности, так и богатства и нахожу себе прибежище в золотой середине». Добавьте к этому тексту знаменитую страницу о положении крестьян: «Мы видим в них диких животных...»; вспомните сетования писателя на жестокость судебных приговоров, погружающую его в горестное недоумение, ибо в его глазах осуждение невинного «касается всех людей»; вдумайтесь в его определение лицемера: тот, «который при короле-безбожнике сам становится безбожником», – и вы поймете, почему некоторые комментаторы видели в нем философа в духе XVIII века и революционера,

³⁰ Фенелон Франсуа де Салиньяк де ла Мот (1651–1715) – писатель, религиозный мыслитель и педагог, автор романа «Приключения Телемака» (1695). Вобан Себастьян Лепретр де (1633–1707) – военный деятель, маршал Франции, автор трактата «Проект королевской десятины» (1707).

опередившего Революцию на сто лет.

Впрочем, такие определения все же мало подходят писателю, который, будучи рожден французом и христианином, в самой своей сатире не выходил за пределы обычаев Франции и понятия о христианских добродетелях. Если он и дерзал разоблачать лицемерных святош, то лишь в расчете на избранную высокоумную аудиторию; если о вельможах он еще мог судить без снисхождения, то о почитании монарха не забывал никогда. Ведь именно от последнего ждали (даже в 1789 году эти надежды еще были живы), что он обуздает произвол аристократии. «Именоватъ государя отцом народа – значит не столько воздавать ему хвалу, сколько называть его настоящим именем и правильно понимать истинное назначение монарха». Лабрюйер создает портрет идеального правителя заодно со всеми литераторами-современниками, кроме тех, кто держал свои сочинения в секрете, приписывая Людовику Великому все дарования, подобающие тому, кто воистину царствует. Пользуясь покровительством государя, он может, как Мольер, высмеивать невежество высококородных персон, показывая, насколько их превосходят, даром что вышли из низших сословий, такие важные сановники той поры, как Кольбер и Лувуа³¹: они-то «знают в государстве все сильные и слабые места», скоро для вельможи ста-

³¹ *Кольбер Жан-Батист* (1619–1683) – министр финансов и фактический глава правительства после 1665 г. *Лувуа Франсуа Мишель Летелье*, маркиз де (1639–1691) – государственный секретарь по военным делам с 1668 г.

нет величайшей удачей попасть к ним в зятя. Это свойство абсолютной власти – устанавливать между всеми подданными государя некое подобие равенства. Дистанция, отделяющая его от прочих смертных, столь велика, что при взгляде с этой межзвездной высоты разница, существующая между подданными, выглядит несущественной. Добрых тиранов не бывает, но монархия все же лучше олигархии при условии, что первая не потворствует второй и крестьянину на его клочке земли под властью разумного короля не приходится страдать от соседства вельможи.

Поэтому уподоблять автора «Характеров» Жюльену Сорелю можно лишь с оговоркой. Лабрюйер – тот же Жюльен Сорель, если бы последний, до гробовой доски оставаясь на службе у маркиза де ла Моля, хладнокровно примечал и описывал пороки того мирка, куда его забросила судьба, подчиняясь тем не менее царящим там законам. Редкие свидетельства, оставленные нам теми, кто знал Лабрюйера, рисуют его веселым и счастливым человеком. Позволительно даже спросить себя, не был ли и сам автор повинен в кое-каких простительных грешках из числа тех, в которых он уличает людей своего круга. Ведь творения моралистов, равно как и романистов, как правило, отчасти исповедальны, и любой автор лучше всего описывает те чувства, которые испытал сам. Марсель Пруст не потому великолепно обличает снобизм, опустошающий душу, что в момент писания

воображал себя снобом, а потому, что он им был. В письмах Лабрюйера можно различить мелькающие порой самодовольные, покровительственные интонации, позволяющие догадаться, что он горд дружеским расположением Конде и господина главного придворного врача. Да и в предисловии к речи, которую он произнес в Академии, полемика язвительна сверх меры, а некоторые удары метят малость ниже пояса.

Нет сомнения, что он наперекор своему философическому настрою страдал от неодобрительных отзывов о его произведении, они рождали в нем неприязненное отталкивание: «Едва человек начинает приобретать имя, как на него сразу ополчаются все; даже так называемые друзья не желают мириться с тем, что достоинства его получают признание, а сам он теперь становится известен и как бы причастен к той славе, которую они уже давно приобрели». Что ж, похоже, что после триумфа «Характеров» Буало и впрямь стал любить их автора несколько меньше, чем до того. При дворе Лабрюйер наблюдает примеры невероятного людского малодушия: «Нет ничего хорошего в обиженном человеке: добродетель, достоинство – все у него в пренебрежении, или плохо выражено, или погрязло в пороках». Разочаровавшись подобным образом, он думает, что разумный человек должен уклоняться от всяких дел: он не ставит искусного политика выше того, кто не стремится стать таковым, и все больше укрепляется в мысли, что мир вообще не располагает к тому, чтобы им заниматься. Чего можно ждать от мира? «Стоит ли возму-

щаться тем, что люди черствы, неблагодарны, несправедливы, надменны, себялюбивы и равнодушны к ближнему? Такими они родились, такова их природа, и не мириться с этим – все равно что негодовать, зачем камень падает, а пламя тянется вверх». Горькая мудрость.

Как видим, перед нами человек достаточно независимо мыслящий, проницательный, зоркий, суровый. И все же многие изображенные им характеры отдают сведением счетов. Так, он находит некоего Теодекта совершенно несносным: «Наконец я не выдерживаю и ухожу – у меня нет больше сил терпеть Теодекта и тех, кто его терпит». Уйти-то он уходит, но, возвратившись домой, строчит еще десятка два мстительных строк о Теодекте. Таков писательский способ одерживать верх над противником. На склоне дней в Лабрюйере стали проявляться причуды литератора: «Не говорите мне о слоге, чернилах, бумаге, пере, типографшике и печатном станке! Пусть никто не дерзает уверять меня: „Ты так хорошо пишешь, Антисфен! Что же ты медлишь? Неужели мы не дождемся от тебя какого-нибудь инфолио? Рассмотрй все добродетели и все пороки в последовательном и методичном труде, которому не было бы конца“ (следовало бы еще добавить: „и который никто не станет читать“). Нет, я навсегда отрекаюсь от того, что называлось, называется и будет называться книгой... Вот уже двадцать лет обо мне толкуют на площадях, но разве мои яства стали изысканнее, разве я теплее одет, разве холод не проникает ко мне в

комнату, разве я сплю на пуховой перине? Какая нелепость, глупость, безумие, – не унимается Антисфен, – повесить над входом в свое жилище надпись: „Здесь живет писатель или философ“».

Заметим, что в разглагольствованиях воображаемого Антисфена есть фраза, которая наверняка приводила в уныние самого Лабрюйера: «Рассмотрите в последовательном и методичном труде...» Франция по традиции еще сохраняла вкус к трактатам, к четко продуманной композиции, к велеречивым переборам доводов в духе Цицерона. «Мысли» Паскаля напрасно представляются нам отрывочными и небрежными, они просто являют собой фрагмент неоконченного труда. «Максимы» Ларошфуко крепко сбиты, их связь надежно обеспечивает посыл о себялюбии. Сам Монтень, сколько бы ни забавлялся отступлениями, следует намеченному плану весьма четко. Лабрюйер первым из великих французских писателей умышленно склоняется к «импрессионизму».

Нет сомнения, названия глав он выбирал сам: «О творениях человеческого разума», «О собственном достоинстве», «О женщинах», «О сердце», «Об обществе и искусстве вести беседу», включая и два последних: «О церковном красноречии», «О вольнодумцах», однако под каждым из этих названий он зачастую словно невзначай роняет какие-нибудь замечания, которые сплошь и рядом могли бы украшать

другую главу. Такова сентенция, что фигурирует в главе «О сердце», но с полным правом могла бы найти приют в той, что «О женщинах». Он и в самом деле не раз перемещал ее в последующих изданиях. Правда, в «Предисловии к речи, произнесенной в Академии» Лабрюйер толковал о плане и композиции книги «Характеры». «Не кажется ли вам, что из шестнадцати глав, составляющих эту книгу, пятнадцать, вскрывающие ложь и смешные стороны, наблюдаемые у объектов страстей и человеческих привязанностей, направлены на опровержение всяких чудес, которые вначале ослабляют, а затем и заглушают в людях стремление к познанию Бога? Таким образом, эти главы являются как бы подготовкой к последней, шестнадцатой главе, где подвергается осуждению и развенчивается атеизм».

Однако создается впечатление, что план здесь лишь неизбежная дань обычаю, он создавался задним числом в угоду принятым представлениям о форме, дабы защитить свободу сатиры. На самом же деле, как доказывает Жюльен Бенда³², именно Лабрюйер первым в классической литературе создал книгу «без композиции», этакую записную книжку, предвосхищающую «Дневники» Стендаля и Жида и заметки Валери, однако он так и не пожелал это признать. «Таким образом, – пишет Бенда, – работа Лабрюйера в корне ломает всю эстетику своего времени, хотя по части литературной теории он хранит ей верность. И эта дисгармония угаснет

³² Бенда Жюльен (1867–1956) – писатель и философ.

вместе с ним. Писатели последующих лет откажутся от такой композиции, пройдут мимо нее, не позаботясь овладеть ею. Лабрюйер знаменовал тот патетический момент в развитии литературы, когда под воздействием исторических факторов писатель открывает новую эру, хотя в силу своего характера и пристрастия всем существом верит в торжество отошедшей».

Для нас, людей XX столетия, привыкших к произведениям «непоследовательным», известная дневниковость «Характеров» – одна из черт их обаяния. Мы ведь пришли к пониманию того факта, что создать универсальную систему крайне сложно, что умные мысли не обязательно связаны между собой или по крайней мере их взаимосвязь не улавливается с первого взгляда, и мы признаем импрессионизм в литературе так же, как признали его в живописи. Дело не в том, что такое направление окажется неизменным и наша словесность обретет своего Сезанна³³, но сходство Лабрюйера с крупными писателями наших дней приближает его к нам, даря его творению вторую молодость.

По весьма тонкому замечанию Сент-Бёва, этот автор «обладает искусством (намного превосходящим искусство последовательного изложения) писать книги, в которых, кажется, нет видимой связи, но она тем не менее неожиданно про-

³³ *Сезанн Поль* (1839–1909) в данном случае упоминается в качестве одного из родоначальников импрессионизма, стремившегося, однако, в своих картинах к целостности впечатления.

ступает то там, то здесь. На первый взгляд мысли писателя кажутся беспорядочным собранием фрагментов, которые блуждают друг за другом в затейливом лабиринте, не порывая, однако, связующей их нити. Каждая мысль развивается, освещается, разнообразно соотносится с другими, тайно сопутствующими ей». Но вместе с тем она, представая перед нами изолированно, оторванная от них, становится нагляднее, выявляя все свои возможности. Последовательное изложение не допускает таких «внезапных выпадов», сохранившихся в нашей памяти со школьных лет, с изучения антологии, вроде: «О Зенобия, не смуты, потрясающие твое царство...», «Ирина, не считаясь с расходами, приезжает в Эпидавр», или можно еще вспомнить такую очаровательную характеристику Екатерины Тюрго: «Он сказал, что ум этой прекрасной особы сверкал, как граненый алмаз...» Подобные пассажи напоминают первые такты Бетховена и Шопена. Нарушения композиционной стройности, допускаемые с таким искусством, – верный признак виртуозного владения композицией.

Стиль Лабрюйера, отнюдь не порывая со стилем своей эпохи, вместе с тем тяготеет к нашей. Присущая ему безукоризненная четкость отвлеченных умозаключений – примета XVII века. Перечитайте в главе «Суждения» беглые заметки и разрозненные мысли, которые складываются в дефиниции на темы глупости, спеси и наглости. Точность языка беспо-

добная. «Уступая желанию, рассчитывают на скромность того, кто, хочется надеяться, не подведет. Но долго ли доверяют таким упованиям? Да нет: помедлят, посомневаются – и сдадутся». Писатель тратит слова чрезвычайно расчетливо, скупно, зато их меткость достойна Ларошфуко: «У некоторых людей величие заменяется высокомерием, стойкость души – жестокостью, ум – коварством».

Однако Лабрюйер, войдя в литературу в 1688 году, то есть после большинства выдающихся писателей своего века, острее предшественников чувствовал необходимость обновить стиль, найти свежие средства, способные пробудить интерес пресыщенного читателя. Яркий мазок, ирония, симметрия в конструкции фраз, неожиданные словосочетания, непрерывное нанизывание эффектов, крутые повороты, превращающие общеизвестные истины в очевидные парадоксы, медленное, трудное восхождение к вершинам, откуда он позволяет себе зачастую внезапно срываться, – этими приемами он овладел мастерски. Для нас Лабрюйер со своим умом и виртуозностью – один из бесспорных предшественников Монтескье, Флобера, братьев Гонкуров, Жироду³⁴ и Пруста. Подобно им, он ценит отточенную деталь, где каждое слово, как грань драгоценного камня, играет особым блеском. Это уже не могучие волны фраз Боссюэ, чья красота в крутых и плавных очертаниях полноводных валов, в том, как велича-

³⁴ Гонкуры Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870) – писатели-натуралисты. Жироду Жан (1882–1944) – писатель и дипломат.

во они катятся. Лабрюйер «складывает из огоньков» искрящуюся мозаику.

Вот один из множества примеров, показывающих, как артистично его стрелы бьют в цель: «Что бы ни делал Герилл – говорит ли он с друзьями, произносит ли речь, пишет ли письмо, – он вечно приводит цитаты. Утверждая, что от вина пьянеют, он ссылагается на царя философов; присовокупляя, что вино разбавляют водой, взывает к авторитету римского оратора. Стоит ему заговорить о нравственности, и уже не он, Герилл, а сам божественный Платон глаголет его устами, что добродетель похвальна, а порок гнусен... Он считает своим долгом приписывать древним грекам и латинянам избитые и затасканные истины, до которых нетрудно было бы додуматься даже самому Гериллу. (Полюбуйтесь, как коварно ввернул! – А. М.) При этом он не стремится ни придать вес тому, что говорит, ни блеснуть своими познаниями: он просто любит цитировать».

Лабрюйер советовал: «Если вы хотите сказать: „Прекрасная погода“, то так и говорите: „Прекрасная погода“». Впрочем, сам он от подобной простоты уклонялся. Если бы ему довелось описывать климат Англии, он, вероятно, выразился бы так: «Не следует судить о лондонской погоде так, как мы судили бы о парижской. Вот утро: туман накрывает город, клубы пара заполняют комнаты и залы, полог ночи простирается между небом дня и землей, солнце затмевается, льется дождь – погода прекрасная». Его искусство состоит в

том, чтобы держать читателя в напряженном ожидании. Он не скажет: «Здравый ум – редкость еще большая, чем бриллианты и жемчуга», нет, он напишет: «Не считая здравого ума, в мире всего реже встречаются бриллианты и жемчуга».

Итак, если этому честному человеку и были чужды честолюбивые амбиции, то на ум он по крайней мере претендовал. Нам сегодня странно читать, что иные строгие ценители из числа его современников упрекали Лабрюйера в недостатке вкуса. А все потому, что в их глазах поиски экспрессивных средств идут во вред естественности. Для нас все иначе. Тэн³⁵ отмечает, что стиль Лабрюйера отклоняется от той легкости и простоты, которых придерживались другие писатели его эпохи, к тому же этот автор непрестанно употребляет конкретные, разговорные слова, между тем как тогдашний классический вкус признавал в литературе исключительно возвышенные, благородные выражения. Так и есть: Лабрюйер реалист, каким являлся и Монтень, какими станут впоследствии писатели XIX столетия, однако моралистам эпохи Лабрюйера это было совсем не свойственно. А ему нравится писать и о потерявшейся собаке, и о разбитой фарфоровой посудине. Он описывает природу, увиденную глазами человека, который умеет вглядываться в нее, и может в двух словах передать впечатление от городка, «будто нарисованного на склоне холма». В моменты мимолетной растроганности в

³⁵ Тэн *Ипполит Адольф* (1828–1893) – философ-позитивист, теоретик искусства.

его пейзажных зарисовках сквозит такая нежная пристрастность, что это уже напоминает манеру романтиков. «Есть места, вызывающие восхищение, и другие места, трогательные, где хотелось бы жить». Стил – это душа, она должна быть тонкой и впечатлительной, чтобы уметь так говорить о творениях духа, о женщинах, о сердце и о природе, как это дано Лабрюйеру.

Долгую жизнь книгам приносят только совершенство формы и глубокая правдивость в описании человеческой натуры. Лабрюйер, из каждой фразы стремившийся сделать произведение искусства и живописавший с редкой точностью вечную игру людских страстей, не умрет, пока будут жить французы, пока они не перестанут мыслить. Никто из классиков так не современен, как он.

Я сам замечаю, что лишь вскользь упомянул о фрагментах антологии, о портретах Меналка или Теодота, но дело в том, что в «Характерах» самое замечательное – отнюдь не характеры.

Фонтенель. «Беседы о множественности миров»³⁶

Можно ценить Фонтенеля и Стендаля одновременно. Пример тому – я. На первый взгляд, однако, это две противоположности. Чувствительный Стендаль ищет повода, чтобы растрогаться; Фонтенель избегает страстей. Его приключения – скорее интеллектуального, чем сердечного, свойства. Но и Стендаля, и Фонтенеля отличала неодолимая тяга к правде. Стендаль высказывался решительнее осторожно-го Фонтенеля. Следует иметь в виду разницу между эпохами. Солдату Империи было позволено рассуждать откровеннее, чем подданному Людовика XIV. Фонтенелю приходилось прикрывать свой скептицизм галантностью. Не забудем, что «Беседы» писались в год отмены Нантского эдикта³⁷. За изящной болтовней юного руанца заметна твердость мысли. Поль Валери, чьи суждения обычно верны, считал Фонтенеля лучшим писателем XVIII века. Кое-кто воскликнет: «Восемнадцатого? „Беседы“ вышли в 1686 году». Скажем так: наш автор принадлежит к XVII веку, если брать форму его сочинений, и к XVIII веку, если брать заключенную в них мысль. Родившийся в 1657 году, умерший столетним стари-

³⁶ Перевод В. Петрова.

³⁷ *Нантский эдикт* (1598) – закон, гарантировавший французским протестантам-гугенотам вероисповедные права; отменен в 1865 г.

ком в 1757-м, он жил в двух великих эпохах и взял лучшее от каждой из них.

I

Несколько слов о Фонтенеле-человеке. Бернар Ле Бовье де Фонтенель, рожденный в Руане, был сыном адвоката парламента Нормандии и Марты Корнель, сестры Пьера и Тома Корнелей, ценимой своими знаменитыми братьями. Ребенок оказался болезненным – один из тех слабых здоровьем младенцев, «которые не обещают ничего и получают все». Он воспитывался в прекрасном коллеже иезуитов (ныне Лицей Корнеля в Руане), наставники восхищались его рано развившимся умом: *adolescens omnibus partibus absolutus*³⁸. Блиставший по всем предметам подросток одинаково хорошо рассуждал о латинском стихосложении и владел точными науками. Слегка склонный к либертенству, он не выставлял этого напоказ и хорошо уживался – как позже Вольтер – с наставниками-иезуитами.

Слава двух его дядей кружила ему голову. В 1674-м, в семнадцатилетнем возрасте, он добился согласия остановиться у них в Париже. Что за везение для юноши, которого так влек литературный мир! Пьер Корнель, старый и унылый, почти не занимался им. Тома, живой и подвижный, во-

³⁸ Юноша, совершенный во всех отношениях (*лат.*).

дил знакомства, сотрудничал в «Меркюр галан» и ввел туда племянника, одарив его планами трагедии и комедии. Так юный Фонтенель начал карьеру литератора, хотя тянулся к точным наукам. Он любил встречаться с основателями новой науки, которые, «наподобие мятежников, составляли заговор против невежества». В одном из домов предместья Сен-Жак собирался небольшой кружок ученых нормандцев: аббат Верто из Кана, аббат де Сен-Пьер, математик Вариньон³⁹. Там обсуждали теории Декарта и Ньютона, называя его на французский манер Нётоном.

Из почтения к дяде Тома «Меркюр галан» восторженно отзывался о молодом Фонтенеле. «Он родом из Руана, живет там, и многие достойнейшие люди признают, что оставить его в провинции – значит обречь на гибель. Нет науки, о которой бы он не рассуждал веско, но при этом изысканно, без неуклюжести, свойственной профессиональным ученым... У него острый, галантный, тонкий ум». Эпитеты заслуженные, но острый ум оказался слишком уж галантным. Его комедии забрасывали печеными яблоками, трагедии провалились. Его прециозность, напоминая скорее о Бенсераде и Вуатюре⁴⁰, чем о Корнеле, раздражала Буало, Лабрюйера и Расина. Это значило столкнуться с сильными противника-

³⁹ Верто Рене Обер де (1655–1735) – историк; Сен-Пьер Шарль Ирене Кастель де (1658–1743) – публицист; Вариньон Пьер (1654–1722) – математик.

⁴⁰ Бенсерад Исаак де (1613–1691), Вуатюр Венсан (1597–1648) – поэты, представители прециозного стиля.

ми. Подросток, столь одаренный, был вынужден вернуться в провинцию, и вслед ему послали жестокую эпиграмму:

Своей судьбы от вас не скрою:
Руан меня избаловал,
В самом «Меркурии» порою
Я остроумием блистал,
Но вот отъезд грозит герою,
И нет ни денег, ни похвал...

Несколько лет он жил то в Руане, то в Париже. Поэзия удалась ему плохо, зато что касается прозы – превосходных идей у него хватало. В «Диалогах мертвых» он оригинально объединил древних и современных персонажей. Поэтесса Сафо ведет диалог с Лаурой Петрарки, Сократ – с Монте-нем, Анна Бретонская – с Марией Французской⁴¹. Книга была забавной и остроумной. Ее приняли хорошо. Но «Галантные письма шевалье д'Эр», последовавшие за ней, вызвали резкие нападки. Лабрюйер и его друзья, оскорбленные непочтительностью молодого автора к древним, утверждали, что ничего хуже никто и никогда не писал.

Гнев ослеплял их. «Это Маскариль или Триссотен»⁴², – говорили они. Но ни Маскариль, ни Триссотен не выдавали таких острот в духе Бомарше и таких изящных оборотов в

⁴¹ *Мария Французская* (XII в.) – одна из самых известных средневековых поэтесс; родилась во Франции, жила при английском дворе.

⁴² *Маскариль, Триссотен* – персонажи Мольера.

духе Мариво. Менее предубежденный критик заметил бы в этом легкомысленном произведении «глубину, изобличающую человека, который стоит выше своих трудов». «Галантные письма» были, по словам некоторых, «„Искусством любви“ для изнеженных душ» — и, конечно, нормандский пастух, буржуазный и практичный, наблюдающий за страстями с неизменной улыбкой, должен был немало раздражать горячих поклонников Расина.

В 1686 году двадцатидевятилетний Фонтенель выпустил небольшую книжицу, наделавшую много шума, которую и сегодня считают чуть ли не шедевром, — «Беседы о множественности миров».

II

Название серьезное, но книга читается легко. Действие «Бесед» происходит в парке близ Руана, разбитом Ленотром, — юная очаровательная маркиза де ла Мезанжер, дочь госпожи де ла Саблиер⁴³, нередко приглашала туда Бернара де Фонтенеля. Там, под звездами, автор читает своей прекрасной хозяйке краткий курс космографии. Беседовал ли Фонтенель хоть раз с Маргаритой де Рамбуйе, маркизой де ла Мезанжер, вдовой Гийома Скотта де ла Мезанжера, о планетах, неподвижных звездах и множественности миров?

⁴³ *Ла Саблиер Маргарита де* (1636–1693) — хозяйка литературного салона в Париже.

Неизвестно – но «именно ее он пожелал изобразить, разве что из брюнетки сделал блондинкой».

В 1686 году выбор астрономии в качестве предмета беседы был вполне естественным. Комета 1681 года послужила поводом к появлению множества трудов. Теории Декарта и Ньютона раскололи крохотный мир ученых. Даже непосвященные заинтересовались астрономией, которую именовали то физикой, то философией. Наивность, свойственная тогда науке, благоприятствовала замыслам Фонтенеля. В наше время у науки есть свой жаргон; математический аппарат скрывает как истоки, так и простоту идей. Во времена «Бесед» еще можно было говорить о науках непредвзято и начинать с самого начала.

И вот Фонтенель намерен прежде всего быть простым и понятным. Он просит от читателя не больше внимания, чем требуется для чтения «Принцессы Клевской»⁴⁴ (романа, вышедшего всего за восемь лет до «Бесед»). Просвещать тех, кто ничего не знает об астрономии, не давая им скучать, и развлекать тех, кто уже просвещен, – вот его цель. Он выбирает в собеседники для своего философа даму, ибо «это делает беседу приятнее» и потому, что хочет «придать смелости дамам». По правде говоря, дамам его времени и круга не надо было придавать смелости, и Буало напрасно – вслед за Мольером – насмехался над их тягой к познанию.

⁴⁴ «Принцесса Клевская» – исторический роман, опубликованный в 1678 г.; авторство приписывают М. М. де Лафайет.

Существовала опасность перейти к милой, но недостойной столь важной темы болтовне. Беседуя с юной маркизой в пустынном парке, чудесной ночью, автор, вероятно, то и дело испытывал искушение перевести разговор с астрономии на чувства. Надо признать, что Фонтенель позволяет себе галантные отступления вроде: «Ваше имя и инициалы, вырезанные в коре деревьев руками ваших поклонников...»⁴⁵ — и что его желание быть приятным по меньшей мере так же сильно, как желание просвещать. Звездная ночь внушает ему мысли скорее забавные, чем возвышенные: «Красота дня — это красота блондинки; а красота ночи — это красота смуглянки». Разве это преступление? Он так не думает. «По-моему, даже истинам необходима привлекательность». В чем суть дела? В том, чтобы перетянуть маркизу в лагерь философии. Как мы увидим, Вольтер порицал Фонтенеля за подобные средства, но *его* маркиза дю Шатле была от природы более склонна к философии, нежели г-жа де ла Мезанжер, к тому же Вольтер и сам нередко облачал величайшие истины в форму несерьезного романа.

Сперва книга состояла из пяти вечеров. Шестой добавился в следующем году, когда вышло новое издание. Начало первой беседы, как мне кажется, достойно Платона: «Итак, однажды вечером, после ужина, мы пошли прогуляться по парку...»

⁴⁵ Здесь и далее цитаты из «Бесед о множественности миров» приводятся в переводе С. Я. Шейнман-Топштейн.

Найдете ли вы во всей литературе XVII века хоть один пейзаж восхитительнее и красочнее этого? Разве эти строки не мог написать Шатобриан – и Фонтенель, классик, слывающий холодным, не есть ли первый из романтиков? Остальное не менее приятно для чтения. Фонтенель описывает явления, о которых сегодня знает (или, скорее, должен знать) школьник младших классов, но делает это с такой изящной ясностью, что ему позавидует не один учитель.

В первый вечер он объясняет маркизе: «Земля – планета, вращающаяся вокруг своей оси и вокруг Солнца». Красота небосвода, где искрится столько неведомых миров, возбуждает в нем не испуг, как в Паскале, не восторг, как в Канте, а лишь желание понять и рассказать. «Расскажите мне о ваших звездах», – просит маркиза, и они пускаются в разговор. Природа – великий спектакль, напоминающий оперу. На сцене мы видим Фаэтона, поднимающегося ввысь; в небесах мы видим Луну, которая восходит и опускается. В обоих случаях философ не верит в то, что видит, и пытается догадаться о том, чего не видит. Вселенная – увеличенные часы. Как она устроена? Согласно Птолемею, все вращается вокруг Земли. Тогда люди по своей глупости верили, будто мир создан для них. Коперник показал, что Земля и планеты, напротив, вращаются вокруг Солнца. Почему прав Коперник? Потому что его система куда проще. «Природа экономна», – говорит Фонтенель. Это важное предвидение. Если Земля вращается вокруг своей оси, то наблюдатель с небесного те-

ла, находящегося над нашей планетой, может последовательно увидеть диких ирокезов, французских маркиз и прекрасных черкешенок. Вот вам «Спутник».

Во второй вечер наш юный философ утверждает: «Луна – это обитаемая Земля». – «Луна, – резонно отвечает маркиза, – устроена совсем не так, как Земля». Маркиза права, и философ соглашается, что на Луне не видно испарений, а лунные моря, возможно, всего лишь пустоты. Что с того? Он никогда не говорил, что Луну населяют люди. От этой ереси он воздерживается всеми силами. Если бы Луну населяли люди, то они, в соответствии со священными книгами, должны были бы происходить от Адама, но это невозможно. Природа бесконечно разнообразна. Если на Луне условия жизни другие, то обитающие там существа, по-видимому, приспособились к миру, лишённому воды, а может, и воздуха. Итак, мы на пути к тому, что ныне именуется ужасным выражением «научная фантастика». Увидим ли мы когда-нибудь лунян? Кто знает? Люди добрались до Америки, однажды доберутся и до Луны. Там они обнаружат существ, поклоняющихся Земле, как наши языческие предки поклонялись Луне.

Третий и четвертый вечера посвящены другим планетам. Они также обитаемы. Венера и Меркурий более благоприятны для жизни, нежели Луна. О Марсе Фонтенель почти не говорит. Марсианские «каналы» еще не привлекли внимания астрономов. Но, желая объяснить, почему планеты удерж-

живаются на своих околосолнечных орбитах и сами обладают спутниками, он излагает маркизе сложную теорию вихрей Декарта. В то время Фонтенель был картезианцем. Останется ли он им? Есть более простая теория, учитывающая одновременно движение небесных тел и силу тяжести. Это ньютоновская гравитация. Фонтенель инстинктивно склонен полагать: самое простое есть самое верное. Поэтому он будет разрываться между приверженностью Декарту и тяготением к ньютоновской ясности. Мы еще поговорим об этом.

В пятый вечер он открывает маркизе глаза на еще более обширный мир. «Неподвижные звезды – это тоже солнца». Возможно, у каждой есть свои планеты. Млечный Путь – муравейник миров. Маркиза ошеломлена этой бесконечностью. «Вот перед нами Вселенная, столь огромная, что я в ней теряюсь. <...> Земля начинает мне казаться ужасающе маленькой, так что впредь я, кажется мне, уже ни к чему на ней не буду стремиться». Миры рождаются и умирают. Почему же наш не должен умереть? Здесь вставлена прелестная притча, которая одна могла бы прославить Фонтенеля. Розы говорят: «Мы всегда видели одного и того же садовника; с того момента, как существует память роз, видели только его». И однако садовники смертны. Может быть, и планеты тоже. «Вечность – совсем нелегкое дело». Но Фонтенель не видит ни единой причины для отчаяния. Жизнь – одно, абсолют – другое. Труд и любовь сохраняют ценность до самого края этой черной пропасти. «Другие миры делают для вас

этот мир таким малюсеньким, но они совсем не могут испортить вам удовольствие от прекрасных очей или прелестного ротика», – говорит философ маркизе.

III

Заключение, несколько напоминающее концовку «Кандида». «Следует возделывать свою любовь и свой разум» – вот мораль Фонтенеля. Иными словами, «следует возделывать свой сад». Но во Франции тому, кто брался за серьезную тему, угрожала опасность, если он не был в должной мере скучным. Вольтер, младший современник Фонтенеля, отчитывал его:

Ваша муза мудра и игрива,
Для чего ей с притворством роман?
Не кладите так много румян:
И без них она будет красива.

В «Микромегасе» Вольтер сатирически изображает Фонтенеля под видом «секретаря Сатурнианской академии, человека изрядного ума, который, хоть сам ничего не изобрел, прекрасно понимал и описывал чужие изобретения»⁴⁶. Между Микромегасом и этим сатурнианским карликом происходит такой диалог:

⁴⁶ Здесь и далее «Микромегас» цитируется в переводе Ю. Б. Корнеева.

– Нельзя не признать, что природа чрезвычайно многолика.

– О да, – подхватил сатурнианец, – природа подобна цветнику, цветы которого...

– При чем здесь цветник? – прервал его Микромегас.

– Она подобна, – не унимался секретарь, – собранию блондинок и брюнеток, чьи уборы...

– Ну что мне в ваших брюнетках! – опять прервал его Микромегас.

– Она подобна портретной галерее, где лица...

– Да нет же! – воскликнул путешественник. – Уверяю вас, природа – это просто природа. Зачем вы ищете для нее сравнения?

– Чтобы развлечь вас, – ответил секретарь.

Мы говорили, что Фонтенель, как признавался он сам, желал быть приятным. Вспомним, что ему тогда не было и тридцати; «Похвалы» ученым, написанные позже, свободны от всяких примет альковного стиля. И все-таки важно понять, что «Беседы» – серьезная и глубокая книга. Разумеется, понятия об астрономии, внушаемые автором маркизе, элементарны. Но для читательниц того времени все это было ново. Галилей, Кеплер еще не овладели умами. И затем, наши современники – насколько сведущи они во всем этом? По крайней мере, они ни разу не сталкивались с таким ясным изложением предмета.

К тому же отступления, легкомысленные с виду, были

необходимы Фонтенелю для защиты от цензоров. «Легкомыслие – жестокое состояние». Эта болтовня отдает крамоллой. И действительно, философия «Бесед» намного смелее вольтеровской. Разбирая часы, Вольтер никогда не упускает случая похвалить часовых дел мастера. Фонтенель в большей степени фрондер. В своих памфлетах «Происхождение вымыслов» и «История оракулов» он напоминает, что народы во все времена изобретали вымыслы и убаюкивали себя химерами. Однако «все люди настолько схожи между собой, что нет народа, чьи безумства не заставили бы нас трепетать». И он поспешно прибавляет с деланой серьезностью, предвосхищая в этом Анатоля Франса, что с избранным народом все иначе: он озарен лучами истинной философии по особой воле Провидения. Но ни Боссюэ, ни Расина нельзя было обмануть подобным притворством.

В сущности, для Фонтенеля наука возможна, только если отделить – после акта Творения – мир от Бога. Он никогда не говорит об этом прямо – но как ученому формулировать законы, если всемогущее существо беспрестанно меняет их? Науке требуется и бог-геометр, «создавший мир путем расчетов», и устойчивый мир, которого ни один злой дух не изменит за время наших наблюдений. Последнее, впрочем, касается бесконечно малого уголка Вселенной. Наша наука – *человеческая*, сомасштабная человеку. Наши идеи зависят от строения нашего тела. Они истинны на крохотном шарике, что вращается, неизвестно почему, в бесконечном простран-

стве, и ошибочны вне его. Полнейший релятивизм, оправдывающий предельную терпимость, – и действительно, Фонтенель проявлял терпимость во времена, когда нетерпимость сходила за добродетель. В своей «Похвале Ньютону» он не без отваги пишет: «Приверженец англиканской церкви, он не стал бы преследовать несогласных, дабы вернуть их в ее лоно. Он судил всех по их нравам, и истинными несогласными для него были люди порочные и злобные».

«Похвалу Ньютону» следует прочесть целиком, после «Бесед», – во-первых, потому что Фонтенель, сторонник картезианства, в равной степени отдает должное обоим великим людям, и во-вторых, потому что текст содержит самое удивительное из многочисленных фонтенелевских предсказаний. «Если запустить ядро на высоте, где ощущается неравенство в силе тяжести, оно опишет вместо параболы эллипс, одним из фокусов которого будет центр Земли, то есть поведет себя в точности как Луна». Это описание искусственного спутника: его последняя ступень, толкаемая ракетой, есть пушечное ядро, запущенное на такой высоте.

Как мы видим, картезианство Фонтенеля несколько не умаляло свободы его ума. Здесь он опять следовал учению Декарта, проповедовавшего презрение к авторитетам. Он перенял от учителя прежде всего манеру рассуждать и «определенный стиль мышления». Он верит в силу разума; он не считает эту силу единственной. Миром движет не разум, а темные силы: страсти, предрассудки. Фонтенель наблюдает

за их игрой с любопытством, не впадая в догматизм; сам он пытается делать то же, что его учитель, – «никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью».

Те, кто обвинял Фонтенеля в полнейшем скептицизме, плохо знали его. «Он был твердо привязан к некоторым главным принципам, к дисциплине ума, к некоей ясной преданности». Конечно же, он был скептичен в том, что касается значения человека в мире. Но он спокойно принимал человеческий удел. Тем самым он оставался классиком великой – мольеровской – эпохи; тем самым он принадлежит и к нашей, романтической эпохе бегства от действительности и готовности склониться перед любым посторонним авторитетом. И однако он предвидел величайшие открытия лучше остальных «философов» своего времени.

Фонтенель считал, что однажды все науки объединятся в единую систему – вероятно, математическую. В этом он предвосхитил Эйнштейна. Он прибавлял, что не следует строить умозрительных общих систем, искажающих объективное наблюдение фактов. В этом он стал предшественником Клода Бернара⁴⁷. Ни один мыслитель не применял метод сомнения с таким успехом. В этом он напоминает мне Алена. Что бы ни говорили его враги, Фонтенель был не столько отставшим от времени остроумцем, сколько опередившим свое время великим умом. «Беседы», его юношеский труд,

⁴⁷ *Бернар Клод* (1813–1878) – французский физиолог.

остается таким же юным, как в 1686 году, когда вдова Бла-
жар, парижская книгопечатница, по королевской привиле-
гии выпустила первое издание.

Вольтер. Романы и повести⁴⁸

Философский роман – жанр трудный, поскольку это жанр-гибрид. Он тяготеет и к эссе, и к памфлету, коль скоро в нем автор стремится провозгласить одни идеи и опровергнуть другие, тем не менее это роман – повествование о вымышленных событиях. Но ему не могут быть свойственны ни серьезность эссе, ни правдоподобие романа. Положим, он и не претендует на это правдоподобие, умышленно подчеркивая присущий ему характер интеллектуальной игры. Ни Вольтер, создавая «Кандида», ни Анатоль Франс, когда писал «Остров пингвинов», ни Уэллс, сочиняя историю доктора Моро⁴⁹, не пытались побудить читателя хоть на миг принять эти вымыслы за реальность. Напротив, им представлялось желательным придать философскому роману вид фантастического повествования.

Но зачем автору прибегать к такой диковинной, завуалированной философии? А затем, чтобы с большей свободой высказать мысли, которые в эссе показались бы шокирующими, разрушительными или даже вызвали бы у читателя отвращение. Зато, чувствуя себя перенесенным в мир, где царит чистое безумие, он тем доверчивее воспринимает самые ошеломляющие истины. Свифт только потому смог вы-

⁴⁸ Перевод И. Васюченко.

⁴⁹ Имеется в виду роман Г. Уэллса «Остров доктора Моро» (1896).

сказать достаточно рискованные соображения относительно человеческой природы и современного ему английского общества, что повествовал якобы о стране лилипутов, о державе великанов или о государстве, где лошади управляли людьми. Монтескье, пользуясь посредничеством абсолютно неправдоподобного персиянина⁵⁰, насмехался над обычаями, почтение к которым по своему рождению и положению в обществе был обязан изображать хотя бы для видимости.

Таким образом, философские повести и романы оказываются ко двору во времена, когда идеи эволюционируют быстрее, чем общественные установления и нравы. Тогда писатели, терзаемые искушением высказать то, о чем они думают, но вынужденные опасаться строгостей со стороны цензуры, полиции или инквизиции, находят убежище в абсурде, уходят в область невероятного, тем самым обретая неуязвимость. Именно такой была ситуация во Франции XVIII века. На первый взгляд монархия сохраняла свою мощь, она стояла на страже религиозной и философской ортодоксальности минувших столетий. Рука ее судей была тяжела. Однако, по существу, литераторы и мыслящая элита уже усвоили новые идеи и жаждали об этом заявить. Возможность сделать это открыто была не совсем исключена, доказательство тому – «Философский словарь» Вольтера, его же «Опыт о нравах», статьи в «Энциклопедии». Но оставалось немало и та-

⁵⁰ Имеются в виду «Персидские письма» (1721) Шарля де Монтескье (1689–1755).

ких тем, подступиться к которым было мудрено.

Пользуясь для этой цели фантастической формой, автор получал шанс завоевать внимание не только вольнодумцев, но и читателей, мыслящих более робко, и тем самым расширить свою аудиторию. Заметим, что подобный тип произведений был тогда в большой моде. Со времени публикации «Тысячи и одной ночи» в переводе Галлана (1704–1717) и «Персидских писем» Монтескье (1721) ориенталистика стала служить прозрачной маской для тех умов, чьи дерзновения приходилось умерять осторожностью. Вольтер нуждался в этом больше, чем любой другой.

I

Странно, что он пришел к этому живому, вольному (в обоих смыслах слова) жанру не смолodu, а гораздо позднее. Если не считать «Приключений барона Гангана», которые никогда не были опубликованы, хотя из переписки Вольтера с прусским кронпринцем известно, что такой текст существовал, первая философская повесть Вольтера «Мир, как он есть» написана в 1747 году. Это было время, когда он после одного неприятного происшествия скрывался вместе с госпожой дю Шатле у герцогини де Мэн⁵¹. Там были сочи-

⁵¹ *Шатле Габриэль Эмили Ле Тоннелье де Бретеиль*, маркиза дю (1706–1749) – математик, физик, возлюбленная Вольтера. *Анна Луиза Бенедикта де Бурбон* (1676–1753) – супруга внебрачного сына Людовика XIV, герцога Мэнского.

нены «Видения Бабука», «Мемнон», «История путешествий Скарментадо», «Задиг». Вольтер что ни день писал по главе, а вечером показывал герцогине: «Иногда после трапезы он читал повесть или небольшой роман, который наскоро сочинял за день, чтобы развлечь ее...»

Эти философские романы, неизменно придуманные ради доказательства какой-либо нравственной идеи, писались в легкой захватывающей манере. Герцогине де Мэн они так нравились, что и другие пожелали их узнать, а потому Вольтера заставляли читать вслух. Читал он мастерски, как большой актер. Повести имели огромный успех, слушатели умоляли автора напечатать их. Он долго отнекивался, говорил, что эти маленькие безделки годятся, чтобы позабавить публику, но долгой жизни не заслуживают. Писатели – плохие судьи собственных творений. В восемнадцать лет Вольтер думал, что потомки будут знать его как великого трагического актера, в тридцать рассчитывал прославиться как историк, в сорок – как эпический поэт. В 1748 году, сочиняя «Задига», он вообразить не мог, что этой маленькой историей будут радостно зачитываться и в 1958-м, когда «Генриада», «Заира», «Меропа» и «Танкред» будут спать вечным сном на библиотечных полках.

Современники Вольтера заблуждались на этот счет заодно с ним. Они придавали мало значения легкомысленным повестушкам, которые их раздражали слишком частыми шпильками в адрес личных врагов автора: «Вольтера легко узнать

под именем благоразумного Задига, а клевета и злобные выходы придворных... немилость, постигшая героя... все это аллегории, объяснение которых напрашивается. Так он сводит счеты со своими недругами...» Аббат Бойер⁵², наставник дофина, могущественный служитель церкви, крайне враждебно воспринял авторскую расправу с персонажем по имени Рейоб – такая анаграмма уж очень плохо скрывала истинного адресата нападок. «Мне бы хотелось, чтобы эта шумиха вокруг „Задига“ прекратилась», – писала госпожа дю Шатле, да и сам Вольтер вскоре отрекся от своей повести, которую «осмеливались обвинять в том, что она содержит дерзостные догмы, противные нашей святой религии». На самом же деле дерзость «Задига» не заходила далеко, повесть всего лишь показывала, как верования смертных меняются в зависимости от времени и места, между тем как основа у всех религий одна, и она нерушима. Это общедоступная истина, но в ту эпоху здравый смысл был не особенно популярен в свете.

Те, кто не решался нападать на теологию Вольтера, обвиняли его в плагиате. Это испокон веку самый легкий способ дискредитировать великого писателя. Коль скоро все, включая то, что говорит он, уже было сказано когда-то, нет ничего проще, чем сопоставить два сходных пассажа из разных книг. Мольер подражал Плавту, тот, в свой черед, – Менадру, который и сам наверняка оглядывался на какой-то нам

⁵² Бойер Клод (1618–1698) – драматург и поэт; был священнослужителем, однако не имел сана аббата.

неведомый образец. Фрерон⁵³ с запозданием в два десятилетия корил Вольтера за то, что он почерпнул лучшие страницы «Задига» из источников, которые «этот великий копист сохраняет в тайне». Так, блистательная глава «Отшельник» позаимствована из поэмы Парнелла⁵⁴, глава «Собака и лошадь» (предвосхищение Шерлока Холмса) – из «Путешествия и приключений трех принцев из Серендипа»⁵⁵. «Господин де Вольтер, – пишет коварный Фрерон, – зачастую читает отнюдь не бесцельно, и это ему приносит плоды, особенно те книги, которые, казалось, совсем забыты... Он привлекает из этих неведомых копей драгоценные камни...»

И что за беда? Выходит, заброшенные рудники надобно оставлять неиспользованными? Какой честный критик когда-либо утверждал, будто писатель творит «из ничего»? Ни «Отшельник» Парнелла, ни «Путешествие из Серендипа» оригинальностью не блещут. «Все эти историйки, – говорит Гастон Парис⁵⁶, – пересказывались на многих наречиях, пока не дошло до французского – языка настолько гибкого и жи-

⁵³ *Фрерон Эли Катрин* (1718–1776) – журналист и литературный критик, противник Вольтера.

⁵⁴ Имеется в виду стихотворение ирландского священнослужителя и поэта Томаса Парнелла (1679–1718) «Отшельник».

⁵⁵ «*Три принца из Серендипа*» – адаптация персидского эпоса о трех принцах из волшебной страны Серендип (Цейлона), понимавших язык растений, зверей и птиц. Французский перевод известен с 1719 г.

⁵⁶ *Парис Гастон* (1839–1903) – филолог, исследователь средневековой литературы.

вого, что на нем они приобрели видимость новизны...» Уникальность и блеск повестям Вольтера придает не его умение изобретать сюжеты, а сочетание различных, по видимости несовместимых достоинств, отличающее манеру этого автора.

Пройдя школу иезуитов, он научился у них четкости мысли и элегантности стиля, а прожив какое-то время в изгнании в Англии, прочел Свифта и оценил его приемы. «Это английский Рабле, – говорил он о создателе „Гулливера“, – но без его мусора». Он позаимствовал у Свифта его вкус к причудливому вымыслу (отсюда «Микромегас» и «Бабук»), к историям о путешествиях, обеспечивающим свободу сатире и возможность сохранять бесстрастный тон, высказывая самые чудовищные суждения как нечто очевидное и естественное. К этому прибавилось влияние галлановского перевода «Тысячи и одной ночи». Как замечает Ален⁵⁷, философ и литературный критик первой половины XX века, «сочетание классического французского языка, такого последовательно логичного в обнаружении причин и следствий, с тем безумным восприятием жизни, что присуще фаталистическому Востоку, должно было породить жанр небольшой повести и действительно породило его». Итак, темы вольтеровских повестей взяты из баек, древних, как род людской, приемы почерпнуты у Свифта, восточных авторов и иезуитов,

⁵⁷ Ален (Эмиль Огюст Шартье; 1868–1951) – см. о нем очерк в настоящем издании.

но синтез всего этого неподражаем.

Вольтер долго шел этим путем. Как мы видели, впервые он обратился к новому для него синтетическому жанру в 1747 году, когда ему было пятьдесят три. Но свой шедевр, выдержанный в этой манере, «Кандида», он написал в 1759-м, стало быть, в шестьдесят пять. В семьдесят три – еще одна великолепная удача, «Простодушный», в семьдесят четыре он пишет «Человека с сорока экю», в том же году создает «Царевну Вавилонскую», а еще несколько маленьких повестей, таких как «История Дженни», «Кривой крючник» и «Уши графа Честерфилда», выходят из-под его пера, когда автору уже перевалило за восемьдесят. Поль Моран⁵⁸ выводит из этого вот какое заключение: во Франции писатели никогда не бывают настолько молодыми и раскованными, как после шестидесяти. Они наконец свободны и от романтического смятения юности, и от суетной погони за лаврами, что в стране, где литература играет столь важную общественную роль, отнимает у творца слишком много сил в пору его зрелости. Шатобриан никогда не был таким ярким «новатором», как в «Жизни Рансе» и в заключительной части «Замогильных записок», Вольтер создал свое лучшее произведение в шестьдесят пять лет, Анатоль Франс опубликовал «Боги жаждут» в шестьдесят восемь. Старый писатель, как и старый актер, более искусен в своем ремесле, что до молодости стилия – это дело техники.

⁵⁸ Моран Поль (1888–1976) – писатель и дипломат.

II

Под общим названием «Романы и повести Вольтера» принято объединять произведения, весьма разнородные по характеру и по уровню. Здесь такие шедевры, как «Задиг», «Кандид», «Простодушный», попадают на одну доску с довольно посредственными повестями вроде «Царевны Вавилонской» и «Белого быка», такими десятистраничными новеллками, как «Кози-Санкта» или «Кривой крючник», соседствуют с настоящими романами, достигающими сотни страниц, вроде того же «Простодушного». Туда же попадают и наброски, как «История путешествий Скарментадо», предвосхищающие «Кандида», «Письма Амабеда», тяготеющие к традиции «Персидских писем», диалоги наподобие «Человека с сорока экю», где нет ничего от романа и речь идет исключительно о политической экономии, что приводит на память сочинение аббата Галиани «Диалоги о хлебной торговле»⁵⁹, а рядом оказывается что-нибудь вроде «Ушей графа Честерфилда», хотя последнее не более чем беседа о теологии.

Что же общего можно найти между творениями столь разными? Прежде всего интонацию: она у Вольтера всегда насмешлива, стремительна и на первый взгляд небрежна. В

⁵⁹ «Диалоги о хлебной торговле» (1770) – написанный по-французски трактат итальянского экономиста и писателя Фердинандо Галиани (1728–1787).

этих произведениях вы не найдете ни одного персонажа, которого автор в полной мере принимал бы всерьез. Все они суть либо олицетворения какой-то идеи, доктрины (Панглосс воплощает оптимизм, Мартен – пессимизм), либо персонажи фантазийные, будто фигурки с какой-нибудь лакированной раздвижной ширмы или китайской миниатюры. Их могут истязать, сжигать заживо – это не вызовет настоящего волнения ни у автора, ни у читателя. Даже когда прекрасная Сент-Ив рыдает, умирая от отчаяния, ибо пожертвовала ради спасения возлюбленного тем, что называют честью, никто и не подумает прослезиться. В этих повестях происходят сплошные катастрофы, но рациональное начало настолько доминирует, а действие разворачивается так стремительно, что не успеваешь пригорюниться. Понятное дело: торопливость не к месту ни в похоронном марше, ни в заупокойной мессе, а у Вольтера сугубая склонность именно к повествованию в темпе престо или аллегретто.

Его марионетки мечутся в этом бешеном ритме. Вольтеру нравится выводить на сцену священнослужителей, которых он честит магами, судей, которых он называет муфтиями, финансистов, инквизиторов, евреев, инженю и философов. У него имеется несколько избранных врагов, которые под разными обличьями снова и снова появляются в каждом романе. Что до женщин – он не питает к ним особого почтения. Если верить ему, они только и думают, как бы завязать роман с красивым, хорошо сложенным молодым человеком,

но, будучи трусливыми и продажными, отдаются престарелому инквизитору или солдафону, чтобы разбогатеть или сохранить жизнь. Они непостоянны и ради того, чтобы вылечить своего нового любовника, готовы отрезать нос трогательно оплакиваемому супругу. Впрочем, Вольтер не бранит их за это. Скарментадо рассуждает так: «Увидев, таким образом, решительно все, что на свете было доброго, хорошего и достойного внимания, я решился не покидать больше моих пенатов никогда. Оставалось только жениться, что я вскоре исполнил, и затем, став как следует рогат, доживаю теперь на покое свой век в убеждении, что лучшей жизни нельзя было придумать».

Что поистине объединяет все столь различные произведения, так это вольтеровская философия. О ней отзывались как о «хаотическом сочетании ясных мыслей». Эмиль Фаге⁶⁰ упрекал Вольтера в том, что он, на все бросив взгляд, все исследовав, ничего не углубил. «Он кто – оптимист? Пессимист? Во что он верит: в свободу воли или в роковую предопределенность? Считает ли человеческую душу аморальной? А как насчет Бога? Отрицает ли он всяческую метафизику полностью, будучи агностиком с головы до пят, или является таковым лишь в известной мере, то есть отчасти остается метафизиком?.. Не верится, что он способен на любой из этих вопросов ответить безоговорочным „да“ или „нет“».

Это справедливо. У Вольтера можно найти все – и на

⁶⁰ Фаге Эмиль (1847–1916) – критик и историк литературы.

все найти контраргументы. Но хаос упорядочивается, стоит лишь приурочить все эти мнимые противоречия к этапам их создания. Мировоззрение Вольтера, как бывает почти со всеми, эволюционировало на протяжении его долгой жизни. «Видение Бабука» и «Задиг» написаны в момент, когда судьба улыбалась Вольтеру: он пользовался благоволением госпожи де Помпадур⁶¹, а следовательно, и большинства придворных, его приглашали к себе все монархи Европы, госпожа дю Шатле оставляла ему полную свободу предаваться страстям в свое удовольствие, оставаясь одновременно и влюбленным, и независимым. Поэтому он склонен признать жизнь терпимой, что отражается в относительно мирном финале «Бабука».

«Нужно ли покарать Персеполис или его разрушить?» – вопрошает Бабука гений Итуриэль. Бабук взирает на происходящее бесстрастно. Он присутствует при кровавом сражении, где воины той и другой стороны не знают, зачем убивают, ради чего гибнут, однако сама баталия – повод для бесчисленных проявлений отваги и человечности. Он входит в Персеполис и видит там уродливый, грязный народец, храмы, где мертвецов погребают под звуки пронзительных, нестройных голосов, видит женщин легкого поведения, с которыми любезничают судейские. Однако, продолжив осмотр города, он в нем обнаруживает и куда более красивые зда-

⁶¹ Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721–1764) – фаворитка короля Людовика XV.

ния, и разумных, учтивых людей, которые души не чают в своем предводителе – честном торговце. Довольно быстро Бабука проникается симпатией к этому городу, легкомысленному, злоязычному, но милому, красивому, одухотворенному, о чем он сообщает гению Итуруриэлю, и тот решает даже не пытаться исправить нравы Персеполиса, предоставить всему идти своим чередом, ибо «если мир и не так хорош, он все-таки сносен».

В «Задиге» автор развивает эту мысль. Посредством изобретательно построенных притч он показывает, что с нашей стороны было бы излишней дерзостью утверждать, будто мир плох, коль скоро мы в нем наблюдаем некоторое количество зла. Не ведая будущего, мы не знаем, что явления, кажущиеся ошибками Создателя, послужат нашему спасению. «Нет такого зла, – говорит ангел Задигу, – которое не породило бы добро». – «А что произошло бы, – спросил Задиг, – если бы вовсе не было зла и в мире царило одно добро?» – «Тогда, – отвечал Иезрад, – этот мир был бы другим миром и связь событий определила бы другой премудрый порядок. Но такой совершенный порядок возможен только там, где вечно пребывает верховное существо...» Рассуждение, довольно уязвимое, ведь если Бог добр, почему он не ограничил свое творение пределами такого вечного и совершенного бытия? Если он всемогущ, зачем, создавая мир, не поспешил, ниспослав ему столько страданий?

Ум Вольтера был слишком взыскателен, чтобы уклонить-

ся от подобных вопросов, и в «Микромегасе» он дает на них обескураживающий ответ. Микромегас – обитатель Сириуса, странствующий по разным планетам вдвоем со своим спутником, жителем Сатурна. В один прекрасный день этот гигант обнаруживает Землю, а на ее поверхности – почти неразличимых мелких зверушек. Он до крайности поражен, что эти крохи переговариваются между собой, и возмущен их самомнением. Некая малюсенькая козявка в четырехугольном колпачке объявляет ему, что ей «известны все тайны бытия», ибо изложены они в «Суммах» святого Фомы Аквинского. «Взирая сверху вниз на пришельцев с неба, она изрекла, что все – они сами, их миры, их солнца, их звезды – сотворено только ради человека». Эта речь вызывает у гиганта гомерический хохот.

Здесь сам Вольтер смеется заодно с Микромегасом. Человек сетует, что мир скверно устроен? Но для кого он нехорош? Для человека, который в великом замысле Вселенной значит не больше, чем ничтожная плесень. Вероятно, все то, что в мире представляется нам ошибкой, несуразным упущением Творца, имеет глубокий смысл, но в ином плане. Плесени приходится немного помучиться, зато где-то существуют гиганты, благодаря своим размерам и высокому духу ведущие чуть ли не божественную жизнь. Таков ответ Вольтера на проблему зла, хотя он не слишком удовлетворителен, ведь плесень можно было вовсе не сотворять, и тогда она не смогла бы добиваться права возвыситься пред ликом Господним.

Однако Микромегас все еще довольно оптимистичен, ведь эти человеко-насекомые, такие смешные в своих притязаниях на роль философов, тем не менее удивляют звездных пришельцев, когда пускают в ход свои научные знания, безошибочно измеряя рост Микромегаса или расстояние от Земли до Сириуса. Самый факт, что такая почти не видимая глазу моль, являющаяся, возможно, не более чем случайной ошибкой вселенской природы, смогла столь глубоко проникнуть в ее тайны, во времена Вольтера уже заслуживал удивления, а если бы Микромегас посетил Землю в наши дни, он удивился бы еще больше. Паскаль уже отмечал это, да и Бэкон тоже. Человек значит не больше, чем клещ, но, повинаясь природе, он властвует над нею. Сила разума здесь искупает смехотворную слабость.

Таким предстает Вольтер на втором этапе создания своих повестей. Самым печальным окажется третий этап – время, когда Вольтер поймет, что человек не только смешон, но и очень зол. На писателя в ту пору обрушились личные горести: госпожа дю Шатле изменила ему с его лучшим другом и, забеременев стараниями Сен-Ламбера⁶², умерла при родах. Короли, как французский, так и прусский, лишили его своей благосклонности, ему пришлось удалиться в изгнание. Правда, ссылка была позолочена: его жизнь в приобретенном им швейцарском имении Делис и годы, проведенные в кантоне Ферней, ужасным прозябанием не назовешь. Но

⁶² Сен-Ламбер Жан-Франсуа, маркиз де (1716–1803) – поэт и философ.

этим счастьем он был обязан только собственной осмотριтельности, что до людей – никто из них его не поддержал, а кое-кто ожесточенно преследовал. Но более всего он страдал от общественных бедствий. Нетерпимость, войны – это было выше его сил. А тут в 1755 году вдобавок к людской жестокости его до глубины души потрясла беспощадность природы: лиссабонское землетрясение, разрушившее один из прекраснейших городов Европы. Нет, право же, он не в состоянии более утверждать, что мир все-таки сносен. Ибо настоящее кошмарно.

«Все может стать благим» – вот наше упование.

«Все благо и теперь» – вот вымысел людской.

День, когда все будет хорошо, настанет, если человек трудится над усовершенствованием общества. В этих стихах проглядывают мировоззренческие установки автора «Кандида» прежде всего и его невеселые представления о сущности прогресса.

«Кандид» – порождение, с одной стороны, горького авторского опыта, с другой – уныния, в которое повергали его некоторые философы вроде Руссо, писавшего: «Если Предвечный не сотворил мир более совершенным, значит он не мог этого сделать», или Лейбница, утверждавшего, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Эту последнюю идею Вольтер вложил в уста Панглосса, философа-оптимиста, и

с нею отправил в странствие его доверчивого ученика, юного Кандида, которому было суждено познать деяния армий и инквизиции, повидать смертоубийства, грабежи, насилие, познакомиться с парагвайскими иезуитами, посетить Францию, Англию, Турцию и повсюду убеждаться в том, что человек – весьма злобное животное. Тем не менее «надо возделывать свой сад» – таково последнее слово этой книги. Вольтер хочет сказать: мир безумен и жесток, земля трясется у нас под ногами, небо мечет молнии, короли воюют, церкви раздираемы распрями, давайте же ограничимся своей скромной задачей и постараемся исполнять ее как можно лучше. Это заключение, образец так называемой благовоспитанной логичности, – последнее слово вольтеровской философии, впрочем, и Гёте пришел в финале к тому же. Все плохо, но и улучшать можно все. На том стоит современный человек, такова его жизнеустроительная мудрость, пусть несовершенная, но все же деятельная и полезная. Вольтер, по словам Жака Бенвиля⁶³, «размашисто сметает с пути земные иллюзии». А на образовавшемся пустыре можно построить что-то новое.

Писатели наших дней сделали открытие, что мир абсурден. Но все, что можно об этом сказать, Вольтер уже написал в «Кандиде», притом остроумно, а это лучше, чем злобствовать, и помогает не совсем утратить отвагу, необходимую для действия.

⁶³ Бенвиль Жак (1879–1936) – историк и публицист.

III

«Кандид» – вершина искусства, достигнутая Вольтером в этом жанре. Из сочинений, что последовали за ним, удачнее всех «Простодушный», в нем еще сохраняются стремительность вольтеровского темпоритма и все прелести ума фернейского старца, однако темы, вокруг которых строится повествование, менее значительны, чем в «Кандиде». «История Дженни» – оправдание деизма как «единственной узы для людей, ловко творящих тайные преступления... Да, мои друзья, атеизм и фанатизм – это два полюса мира смятения и ужаса». «Уши графа Честерфилда» – демонстрация идеи, что в этом мире царствует фатальная предопределенность. А раз так, зачем мудрствовать? К чему беспокоиться? «Пейте горячее, когда холодно, пейте прохладное в летний зной, соблюдайте умеренность во всем, следите за пищеварением, отдыхайте, наслаждайтесь и смейтесь над всем прочим». Тот же вывод, что и в «Кандиде», за вычетом поэзии. Ведь в счастливые для автора годы поэзия была доминирующим свойством вольтеровской прозы. Как сказал Ален, «в каждом великом творении есть что-то от молитвы, даже в романах Вольтера». Поэтическое звучание текста в немалой степени создается тем, что вселенское безумие выражено в нем посредством беспорядочного кипения идей и одновременно – торжества авторской мысли, с ее собственным

ритмом, над их хаосом. Несомненно, что Шекспир, воссоздавший для нас песнопения ведьм и фей, – непревзойденный мастер бессвязности и образец совершенства. Но эти же два свойства присущи и лучшим творениям Вольтера. Потoki непредсказуемых абсурдных событий струятся на каждой странице, и однако сама быстрота их смены, а также повторяющиеся через равные промежутки времени сетования Мартена, наивные замечания Кандида, горести Панглосса и рассказы Старухи обеспечивают сознанию читателя то трагическое умиротворение, которое дарит нам только великая поэзия.

Так Вольтер, чаявший стать великим поэтом в стихах и проливший столько пота над сочинением трагедий и эпопей, сам того не ведая, наконец обрел источник чистой поэзии в прозаических творениях, которые кропал забавы ради, не придавая им большого значения. Это лишний раз доказывает, как сказал бы он сам, что зло есть добро, а добро есть зло. И что миром правит рок.

Жан-Жак Руссо. «Исповедь»⁶⁴

Не много найдется писателей, о которых можно сказать: «Без них вся французская литература пошла бы другим путем». Руссо – один из них. В то время как всех прочих авторов формировала жизнь общества, поэтапно ведя их от XVII столетия, облаченного в благородно-величавые одеяния, к изысканному остроумию века восемнадцатого, с его жеманством во вкусе Мариво⁶⁵, а под конец и фривольным цинизмом, женеvский гражданин, не будучи ни французом, ни дворянином, даже поверхностно незнакомый с аристократией, скорее чувствительный, нежели галантный, и более склонный к радостям сельского уединения, чем к салонным забавам, широко распахнул окно на пейзажи Швейцарии и Савойи. Пахнуло свежим воздухом.

Шатобриан обязан ему не только лирическим настроением «Рене», но и мыслями, а порой даже фразами своего героя. Без Руссо у нас бы не было ни ласточек Кобура, ни шума дождя в древесных кронах, ни песни мадемуазель де Буатийоль из «Замогильных записок», которую Шатобриану, должно быть, навеял тот чувствительный, «интимный и домашний» пассаж «Исповеди», где идет речь о пении тетушки Сюзон. «Вот игра природы, которой я и сам не пойму, – пишет

⁶⁴ Перевод И. Васюченко.

⁶⁵ *Мариво Пьер де* (1688–1763) – драматург и прозаик.

Руссо, — но мне никак не удастся допеть эту песню до конца: слезы душат меня...»

Рене — тот же Руссо, но перенесенный на другую почву: знатный кавалер, путешествующий верхом, возлюбленный индианок и сильфид, а не пеший бродяга, ученик гравера, плутоватый лакей, чичисбей перезрелых красавиц. Но если бы Шатобриан не прочел «Исповедь», сколько источников красоты, составляющих очарование его мемуаров, ускользнуло бы от него! Руссо, по замечанию Сент-Бёва, первым «подпустил весенней свежести» в нашу словесность. Дни «соблазнов, восторгов и наслаждений», проведенные Шатобрианом с Натали де Ноай⁶⁶, приводят на память «нежные, печальные и трогательные» впечатления, какими одарила Руссо близость госпожи де Варанс⁶⁷. Жан-Жак задал тон Рене.

Стендаль тоже в немалом долгу у Руссо. Без такого предшественника невозможны та сила чувств и откровенность страстных признаний, что присущи его персонажам. Но важно не только это: сам Жюльен Сорель, герой «Красного и черного», с головы до пят скроен по мерке Руссо, каким он предстает в «Исповеди». Жюльен на службе у маркиза де

⁶⁶ *Ноай Натали Люси Леонтин де Лаборд*, герцогиня де (1774–1835) — в 1805–1812 гг. возлюбленная Шатобриана.

⁶⁷ *Варанс Франсуаза-Луиза де* (1699–1762) — покровительница и любовница Руссо, который называл ее Маман.

ла Моля – ни дать ни взять Руссо в доме графа Гувона⁶⁸. Одного уязвляет пренебрежение Матильды, другой старается привлечь внимание мадемуазель де Брей. Так же как Жюльен, Руссо опрокидывает барьер презрительного отчуждения благодаря знанию латыни: «Все смотрели на меня и переглядывались, не говоря ни слова. В жизни не видано было подобного изумления. Но мне особенно польстило удовлетворение, которое я ясно заметил на лице мадемуазель де Брей. Эта гордая особа удостоила меня еще одного взгляда, который по меньшей мере стоил первого. Потом, устремив глаза на своего дедушку, она, казалось, с некоторым нетерпением ждала должной похвалы мне, которую тот сейчас же воздал так искренне и с таким довольным видом, что весь стол хором присоединился к нему. Краткая, во всех отношениях восхитительная минута!» Не правда ли, эта сцена словно бы взята из «Красного и черного»?

А разве сто лет спустя Андре Жид отважился бы на такую чувственную откровенность в своем «Если зерно не умрет», не имей он перед глазами книг Руссо – первых и притом прославленных образцов подобных признаний? У Жида побольше лицемерия, у Руссо – самолюбования, ведь Жид – представитель «буржуазной верхушки», а Жан-Жак – выходец из городских низов, но тяготение, почти религиозное почтение к искренности до появления Руссо не были есте-

⁶⁸ Граф де Гувон – «первый конюший королевы и глава славного дома Соляр», у которого Руссо служил лакеем.

ственной потребностью литераторов. Классикам благопристойность представлялась ценностью, стоящей выше жизненной правды, Мольер и Ларошфуко приукрашивали свою откровенность, Вольтер вовсе не откровенничал. Только после Руссо человек получил возможность гордиться тем, что говорит все как есть.

В библиотеке Невшателя хранится рукописный набросок Руссо, черновик начала «Исповеди». Там автор объясняет «необычность своего замысла» лучше, чем в несколько театрального вступлении к окончательному варианту книги, где не обошлось без трубы Страшного суда и призывов к верховному существу:

«Никто не может рассказать о человеке лучше, чем он сам. Его внутреннее состояние, его подлинная жизнь известны только ему. Но, описывая их, он их маскирует: под видом рассказа о жизни перед нами предстает самовосхваление, автор показывает себя таким, каким хотел бы быть, но отнюдь не таким, каков он есть. Наиболее искренние повествователи правдивы хотя бы в том, что говорят, но их умолчания лживы, а ведь то, что они скрывают, меняет смысл того, в чем они якобы признаются: высказывая только часть правды, они в конечном счете не говорят ничего. На мой взгляд, первейшим из таких мнимо откровенных авторов, которые хотят обмануть, говоря правду, является Монтень. Он показывает нам свои недостатки, но только привлекательные, а

ведь нет ни одного человека, у которого не нашлось бы черт отталкивающих. Монтень изображает себя похоже, но только в профиль. А если у него шрам на щеке или выколот глаз с той стороны, которую он прячет, разве это не меняет всю физиономию?»

Этот оригинальный набросок ставит перед нами два вопроса: не был ли сам Руссо «мнимо откровенным», да и возможна ли абсолютная откровенность?

Признаю, что Руссо считал себя вполне искренним и честным. Он стремился быть правдивым, рискуя внушить брезгливость, признавался даже в своей ранней склонности к самоудовлетворению, в том, какое удовольствие он получал от оплеух мадемуазель Ламберсье и как робел перед женщинами, из-за приступов повышенной чувствительности превращаясь чуть ли не в импотента, рассказывал о своих шашнях с госпожой де Варанс, по сути граничивших с инцестом и, более того, с несколько странной формой эксгибиционизма. Но тут следует остеречься от чрезмерной доверчивости и отметить, что подобную искренность Руссо проявляет только в отношении своих сексуальных переживаний, а это лишь еще одно проявление все того же эксгибиционизма. Описывать то, что доставляло рассказчику столько запретных удовольствий, — значит выставлять их напоказ перед тысячами зрителей, тем самым умножая свои порочные улады. В отношении к такого рода темам откровенность — это не что иное, как способ наладить интимные отношения с читателем, сде-

лать его своим сообщником, собратом по распутству. Выпячивая таким манером свой цинизм, автор грешит скорее избытком откровенности, чем ее недостатком.

Правда, Руссо изобличает себя еще и в воровстве, в клеветническом доносе (вспомним ленту бедняжки Марион), в неблагодарности по отношению к госпоже де Варанс. Но его кражи уж очень мелкие; если он и оболгал невинную, то, как уверяет, сделал это из простого малодушия, а предательство по отношению к госпоже де Варанс, в котором он кажется столь пылко, произошло в то время, когда их близость давно уже отошла в прошлое, при подобных обстоятельствах многие мужчины поступили бы так же. Сокрушенно бия себя в грудь, он прекрасно сознает, что читатель отпустит ему эти грехи. И напротив, о том, что он, как выясняется, бросил на произвол судьбы всех своих детей, упомянуто вскользь, словно о сущих пустяках. Тут-то и приходится спросить себя, не является ли он сам одним из тех «мнимо откровенных» хитрецов, что признаются лишь в тех пороках, которые придают им больше обаяния.

Руссо ответил бы на это: «Пусть хоть один человек осмелится сказать, что он откровеннее меня!» И был бы прав. Ведь требовать абсолютной искренности – значит предполагать, будто смертному дано наблюдать себя так же отстраненно, как некий посторонний предмет. Но сознание, вглядываясь в себя, не может избежать искажений, тут ничего не поделаешь. Рассказывая о прошлом, мемуарист полагается на

свою память, а она-то еще до того, первая искусно и лукаво производит сортировку. Он придает особое значение эпизодам, оставившим яркое впечатление, но пренебрегает, даже не задумываясь об этом, воспоминаниями о тех бесчисленных часах, когда жил обычной жизнью. Жорж Гюсдорф⁶⁹ в работе «Открытие своего „я“» так разбирает этот механизм: «Исповедь никогда не расскажет всего. Может быть, потому, что действительность слишком сложна, никакое описание не восстановит ее безукоризненно верного образа... В этом смысле весьма показательно перечитывание старого дневника. То, что мы, как нам казалось, запечатлевали изо дня в день, что служит нашей первой интерпретацией повседневной реальности, нисколько не соответствует тому, что сохранила об этом память...»

Писатель, сочиняющий исповедь, мнит, будто воскрешает свое былое, по сути же он описывает лишь то, чем это прошлое стало для него в настоящем. Фуше⁷⁰, на склоне дней приступая к повествованию о временах Революции, вспоминает: «Как-то Робеспьер сказал мне: „Герцог Отрантский...“» Он чистосердечно запечатовал, что не всегда был герцогом! Так позднейшие обстоятельства придают минув-

⁶⁹ Гюсдорф Жорж (1912–2000) – философ, теоретик автобиографического письма, автор книги «Самооткрытие» (1948).

⁷⁰ Фуше Жозеф (1759–1820) – политический и государственный деятель, министр полиции при Наполеоне и Людовике XVIII. Титул герцога Отрантского получил в 1808 г. от Наполеона.

шему иную окраску. Упорная потребность оставаться в согласии с собой побуждает человека подыскивать причины, оправдывающие его поступки, в свой час не имевшие иного повода, кроме случайности, расстройства пищеварения, манер собеседника. «Чем пристальнее я вглядываюсь в прошлое, тем сильнее искажаю, – сказал Валери, – или, вернее, тем больше изменяю предмет». Мы воображаем, будто помним эпизоды нашего раннего детства, на самом же деле это лишь воспоминание о рассказах старших.

Доля притворства есть в каждом человеке. Мы разыгрываем какую-то роль не только перед другими, но и перед собой. Нам необходимо обеспечить непрерывность этого спектакля, что толкает к поступкам, каких бы наши инстинкты от нас ни потребовали. Вся людская мораль основывается на этой второй, более стабильной нашей природе. Между тем натура любого человеческого существа многолика. Безукоризненная искренность состояла бы в том, чтобы описать все свои побуждения, но, коль скоро они противоречат друг другу, автору трудно подчиниться такому требованию. Стендаль отменно описывает и в собственном «Дневнике», и у своих героев смешение безумных страстей и холодной логики, однако даже само это противоречие выглядит в произведении куда стабильнее, чем в жизни. Да и что было бы с искусством, если бы оно не умело навязать природе упорядоченность, которой ей не хватает?

Надо признать, что исповедь – тот же роман, ничем иным

она и быть не может. Когда мемуарист честен, факты в его сочинении приближаются к исторической правде в той мере, в какой это позволяют авторская память и точность интерпретации. Что до чувств, они – плод воображения. «Исповедь» Руссо – лучший из плутовских романов, в котором представлены все составляющие этого жанра: неприкаянное отрочество, многочисленные превратности судьбы, встречи с разнообразными персонажами, перемена мест и условий, любовные интриги и путешествия, причем у героя постепенно открываются глаза на пороки общества и к сорока годам он почти полностью отрешается от суеты. Тут есть из чего сотворить нового, сентиментального «Жиль Блаза»⁷¹, вот Руссо и не преминул сделать это.

Странно только, что автор хочет нас уверить, будто былые чувства он в своей книге живописует точнее, чем события. «Я могу упустить факты, что-то переставить, ошибиться в датах, – признает он, – но я не вправе обманываться ни в том, что я сам испытал, ни в том, к чему привели меня мои чувства. Таков мой принцип. Единственная цель этой исповеди – подробнейшим образом поведать читателю обо всем, что творилось у меня в душе при самых разных обстоятельствах внешней жизни...» Однако для этого писателю необходимо знать свой внутренний мир, четко отделять его от внешнего и обладать мыслями, в которых не было бы ровным счетом

⁷¹ «История Жиль Бласа из Сантильяны» (1715–1735) – плутовской роман Алена Рене Лесажа (1668–1747).

ничего заемного. Я же в возможность всего перечисленного нисколько не верю. Руссо правдив, да, но не в исследовании собственного сознания, а в рассказе о фактах, к которым он демонстрирует такое пренебрежение.

Кто рассказывает о своей жизни, тот, сам того не ведая, демонстрирует собственную манеру поневоле вновь и вновь попадать в сходные ситуации. Стендаль рядом с Анджелой Пьетрагруа и он же у ног Мелани Гильбер (Луазон)⁷² – положения однотипные. Руссо оказывается в любовном треугольнике с Сен-Ламбером и мадам д'Удето⁷³ после того, как уже испытал подобное, оказавшись «третьим» во взаимоотношениях госпожи де Варанс и Клода Ане. Многие в поведении Руссо предопределено его физическими недомоганиями. Болезнь мочевого пузыря заставляла его бежать от многолюдного общества, и он превратил этот вынужденный аскетизм в доктрину. Писатель сам себе дивится, что, «обладая такими пламенными чувствами и сердцем, переполненным любовью, он никогда не пылал страстью к какой-либо определенной женщине». Но объяснение у него есть, и он почти бессознательно проговаривается: «Главной причиной, которая заставила меня вести уединенный образ жизни

⁷² *Анджела Пьетрагруа* («Джина») – замужняя итальянка, возлюбленная Стендаля во время пребывания в Милане в 1811 г. *Мелани Гильбер* (по театру Луазон) – возлюбленная Стендаля во время пребывания в Марселе в 1805–1806 гг.

⁷³ Маркиз де Сен-Ламбер (см. выше) отбил у Руссо графиню Софи-Элизабет Д'Удето (1730–1813); эта история легла в основу романа Руссо «Юлия, или Новая Элоиза» (1757–1760), где Сен-Ламбер выведен под именем Вольмара.

и отказаться от общения с женщинами, был мой недуг». Одна мысль о встрече с нравящейся ему особой повергала его в такое несусветное смятение, что на свидание он являлся уже вконец обессиленным. Этому несовершенству телесного устройства Жан-Жак был обязан своими невзгодами; что до нас, то мы обязаны его слабости, она дала нам «Исповедь» и «Новую Элоизу». «Писатель, как может, вознаграждает себя за несправедливость судьбы», – сказал однажды Стендаль.

Знание самого себя было бы возможно, будь наш разум достаточно объективным, чтобы поверять чувства, которые, как нам кажется, мы в себе открываем, с учетом других данных, связанных с происхождением, воспоминаниями детства, сословными предрассудками, состоянием здоровья, общей выносливостью, особенностями восприятия, возбудимостью, с теми навязчивыми идеями, соблазнами и предубеждениями, какие порождает современная ему эпоха. Можно вообразить, что будет с господином Тэстом, героем книг Поля Валери, если сбросить с него все наносное. Да останется ли от него тогда хоть что-нибудь? Не является ли подлинное самопознание по сути познанием мира?

О чувственности Руссо следует сделать некоторые замечания. Ему с детских лет было присуще то живое, непосредственное влечение к женщинам, что придает столь поэтическое звучание его рассказам в моменты, когда его душа исполнена нежности. Ничего не может быть прелестнее, чем

описание в четвертой книге «Исповеди» прогулки с мадемуазель де Графенрид и мадемуазель Галлей и того невинного наслаждения, что она ему доставила:

«Мы обедали в кухне арендаторши, подружки сидели на скамейках по обе стороны длинного стола, а их гость – между ними, на трехногой табуретке. Что это был за обед! Какое очаровательное воспоминание! Зачем, имея возможность без всякого ущерба наслаждаться такими чистыми и подлинными радостями, желать других? Никакой ужин в парижских ресторанах не может сравниться с этим обедом – я говорю не только о веселье, о тихой радости, но также о самом удовольствии от еды. От обеда мы кое-что сэкономили: вместо того чтобы выпить кофе, оставшийся у нас от завтрака, мы приберегли его, чтобы полакомиться им со сливками и пирожными, которые они привезли с собой, а чтобы не дать нашему аппетиту заглухнуть, мы отправились в сад закончить нашу трапезу вишнями. Я влез на дерево и кидал им пригоршни вишен, а они сквозь ветви бросали в меня косточками. Раз мадемуазель Галлей, протянув фартук и откинув голову, стала так удобно, а я прицелился так метко, что одна пригоршня попала прямо ей на грудь. Сколько было смеху! Я говорил себе: „Зачем мои губы – не вишни! С какой радостью я бросил бы их вот так!..“⁷⁴

Не менее очаровательно во второй книге описание его идиллии с мадам Базиль:

⁷⁴ Руссо Ж.-Ж. Исповедь. М.: ГИХЛ, 1949. С. 147. – Примеч. переводчика.

«Я испытал подле нее невыразимо сладкие мгновения. Все, что я перечувствовал, обладая женщинами, не стоит тех двух минут, которые я провел у ее ног, не смея даже коснуться ее платья. Нет, не существует блаженства, равного тому, что способна доставить порядочная женщина, которую любишь, близ нее все упоительно. Вот она чуть заметно пома-нила меня пальцем, вот легонько прижала руку к моим губам – таковы единственные милости, какие я когда-либо получал от госпожи Базиль, но при одной мысли об этих невесомых знаках приязни восторг и поныне пронизывает все мое существо».

Недаром Сент-Бёв восхищается пленительным описанием первой встречи Жан-Жака с госпожой де Варанс, новизной, прежде неведомой французской литературе и ее читательницам из Версаля (даром что описываемое было им так близко). Эти страницы открывают целый мир свежести и солнца, «они представляют сочетание чувствительности и естественности, причем острие чувствительности выступает лишь тогда, когда это позволительно и необходимо, чтобы освободить нас наконец от фальшивой метафизики сердца и спиритуализма условности...». Однако критик сетует, что сочинитель, способный живописать наслаждение столь чистое и достойный подобных чувств, проявляет удручающий недостаток вкуса в эпизодах с ужасным Мором, лионским аббатом, или с мадемуазель Ламберсье. И зачем было называть госпожу де Варанс «мамочкой» в тот самый момент, ко-

гда она становится его любовницей?

Сент-Бёв – ценитель изысканный, таких ныне не сыщешь. Тем запальчивее он перечисляет подобные промахи и кое-какие «недостойные, отвратительные выражения, без которых порядочный человек обходится и знать их не желает», объясняя их тем фактом, что Руссо был лакеем и воспринял лакейский лексикон. Ведь «того, кто привык к разношерстной среде, не тошнит от уродливых и постыдных вещей, когда их называют своими именами». В наши дни все изменилось, мы больше не находим в цинизме современной лексики примет какой-либо социальной среды. Дерзость Руссо, шокировавшая критиков XIX столетия, сегодня кажется почти робкой.

Надо ли сожалеть, что Руссо и его подражатели осмелились признаться в том, о чем известно каждому мужчине, да и женщине надо бы знать? Ведь это лицемерие – превозносить искренность писателя до той поры, пока он умалчивает о главном, и возмущаться, стоит ему изобразить человека таким, какой он есть. В сексуальной откровенности есть своя притягательность, она будит в читателе чувственные ассоциации, братски сближает его с автором и тем самым вселяет уверенность. Обнаружив у другого, притом слывущего великим, желания, а подчас и извращения, которым он и сам предавался или по крайности испытывал такой соблазн, читатель проникается верой в себя. Освобождается от подавленных комплексов, а это выигрыш. Но тут существует и свой

риск. Прожить целую эпоху в атмосфере чувственности – состояние заведомо нездоровое. Времена цинизма почти всегда были и временами упадка. Рим Гелиогабала заставляет сожалеть о Риме Катона⁷⁵. Преувеличенное целомудрие может стать причиной жестокой подавленности, вседозволенность ведет к разгулу страстей. Ведь и у Руссо наблюдается малая толика одержимости сексом.

Она, как зачастую и случается с одержимостью, питается преимущественно воображением, ведь в его жизни было не много женщин: госпожа де Варанс, госпожа де Ларнаж, «падуанка», некая девица («бедное создание», что было презентовано ему пастором Клюпфелем), Тереза Левассер – по-моему, это и все. Но те, кто больше прочих занимается любовью, и те, кто без конца распространяется о ней, – совершенно разные люди. Руссо много говорит о любви, досаждавая своим друзьям добродетельными проповедями, но на практике вовсе не желая собственным поучениям следовать. Чтобы понять жестокую неприязнь, которую питали к Руссо две религиозные конфессии, да и все вокруг, надо вспомнить, что начиная с 1750-го в моду вдруг вошла философия. Тут-то он и взял Париж штурмом, покорил его как мудрый гражданин, друг добродетели, обличитель фальши суетных наслаждений, враг цивилизации. Однако же этот хулигатель театра

⁷⁵ *Гелиогабал* Марк Аврелий Антонин (204–222) – римский император, его имя стало синонимом разврата. *Марк Порций Катон Старший* (234–149 до н. э.) – римский политик, борец против пороков и роскоши.

поставил оперу при дворе⁷⁶, этот гордый республиканец принял от госпожи де Помпадур пятьдесят луидоров, этот апостол супружеской любви сожительствовал во грехе с девицей, которую совратил совсем юной, и наконец, будучи автором самого выдающегося трактата о воспитании⁷⁷, отправил всех своих детей в приют для подкидышей или, по крайней мере, похвалялся этим. Таким образом, он сделал все, чтобы обеспечить своих врагов прекрасным оружием.

Враги же у него имелись, вся вторая часть «Исповеди» — не что иное, как попытка Руссо оправдаться, защититься от их клеветы. Шесть первых книг, написанных в Англии, в Вуттоне, охватывают период до 1741 года, и в них чувствуется, с каким удовольствием автор живописует пору своего ученичества. К сочинению шести последних он приступил с двухлетним перерывом в Дофине и Тире, эта работа продолжалась с 1768 до 1770 года. Повествование обрывается на 1766-м, когда Руссо, подвергшись гонениям во Франции, а затем в Женеве и Берне, решает искать убежища в Англии. В этих главах речь идет о первой схватке Руссо с таким противником, как Париж, о связи с Терезой Левассер, о начале литературной карьеры, о пылкой дружбе с мадам д'Удето и о злосчастных последствиях этой страсти.

Во второй части книги есть еще несколько прекрасных

⁷⁶ Имеется в виду комическая опера Руссо «Деревенский колдун» (1752).

⁷⁷ Имеется в виду роман Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).

эпизодов. Замечательно описана радость, которую испытывает Руссо, когда мадам д'Эпине принимает его в Эрмитаже, где, вновь окунувшись в природу, что манит его и нежит, он может снова созерцать зелень, цветы, деревья, воды. Жан-Жак рассказывает, как под воздействием этого пьянящего восторга зародился замысел «Юлии», как он сам воспылал любовью к этой сильфиде, созданию его фантазии. Повествует он и о прогулках с мадам д'Удето, о романтической обстановке их первых встреч, о ночном свидании в рощице – все это прелестно и так же дышит отрадой, как ландшафты Шарметты.

Но мало-помалу в этом тексте начинает сквозить озлобленность. К ароматам лета примешивается запах слежки и свечного воска. Руссо полагает, что его преследуют, тайно крадутся по пятам. «Здесь затевается темное дело, я словно в гробу, и, что бы ни предпринимал, мне не вырваться из этого жуткого мрака...» Уж не овладела ли им мания преследования? Может, все эти жалобы беспричинны? Долгое время комментаторы именно так и думали, поскольку противники Руссо, тоже литераторы и персоны влиятельные, внушали потомству доверие. Однако, прочитав книгу Анри Гийемена⁷⁸ «Один человек, две тени», перестаешь сомневаться, что у Руссо действительно имелись жестокие враги, которые по разным причинам сошлись в общем намерении его погубить. Смиренный, несчастливый, безвестный, ни на кого не по-

⁷⁸ Гийемен Анри (1902–1992) – швейцарский критик и историк.

хожий, он годам к сорока стал входить в моду. Светские дамы гордились, что открыли новый талант. Потом пришел и настоящий успех – то, что людям труднее всего простить своему ближнему. Гримму⁷⁹ и Дидро, которых Руссо считал своими вернейшими друзьями, надоело слушать восхваления, расточаемые в его адрес. Гримм, тот и вообще был достаточно злоязычен, Дидро – отнюдь нет, но он не мог простить Руссо его христианства. То, что частое общение с энциклопедистами укрепило веру «гражданина Женевы», вместо того чтобы ее поколебать, представлялось опасным для любой секты, в том числе атеистической, мешало пропагандировать свое вероучение. Пусть бы на худой конец он был твердым приверженцем одной из двух главных конфессий, так нет же! В самом начале Руссо – протестант, потом католик, потом снова протестант. На самом деле он желал исповедовать свою, личную веру, отрешившись, подобно герою одной из своих книг, савойскому викарию, «от хлама мелких формальностей»⁸⁰. Такая независимость, рискованная, хотя и внушающая уважение, восстановила против него соединенные силы отцов-иезуитов и светских министров.

Впрочем, женщины, столь влиятельные в ту пору, оставались сторонницами Руссо, они долгое время вознаграждали

⁷⁹ Гримм Фридрих Мельхиор (1723–1807) – немецкий просветитель, публицист, критик, дипломат; был близок к энциклопедистам.

⁸⁰ Имеется в виду «Исповедание веры савойского викария» из пятой книги романа Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).

его своей поддержкой за ту нежность, с какой он отзывался о них. Но он и женщин умудрился оттолкнуть. Им было нужно, чтобы он своим милым обществом разгонял их скуку. Так нет: ему больше нравилось прогуливаться наедине со своими грезами⁸¹, нежели украшать собой будуар великосветской дамы. К тому же недуг делал его непригодным для долговременного исполнения роли куртизана и фаворита. Мадам д'Эпине, которая к нему благоволила, он смертельно оскорбил, влюбившись в ее невестку, мадам д'Удето, и даже не потрудившись это скрыть. В своей наивности он дошел до того, что доверчиво поведал об этой любви Дидро, которого считал близким другом, хотя на деле тот уже перестал быть таковым. Нет врага более жестокого, чем бывший друг: совершая дурной поступок и понимая это, он, чтобы оправдаться в собственных глазах, с удовольствием чернит того, кого предает. Дидро проболтался, злоупотребив доверием Руссо, а Гримм искусно разжигал все возникшие недоумения. Да и самой мадам д'Удето, еще недавно влюбленной в Жан-Жака, уже поднадоел поклонник, одновременно платонический и нескромный, ведь это два таких греха, каким нет извинения. И вот Руссо внезапно увидел, как весь этот мирок, некогда казавшийся таким чарующим, ошети- нился против него. Ему пришлось покинуть Эрмитаж, что стало для него настоящей драмой. Как тут не вспомнить о

⁸¹ Имеется в виду книга Руссо «Прогулки одинокого мечтателя» (1776–1778).

несчастном персонаже Бальзака, турецком священнике⁸², тоже ставшем жертвой всеобщей раскаленной ярости.

Дальнейшее можно обойти молчанием. Ворохи писем, беспокойные попытки разобраться в умонастроении гольбаховской группировки⁸³, жалкая ограниченность обитателей города Берна и округа Валь-де-Травер – все это представляет некоторый интерес для историка литературы. Но для увлеченного «Исповедью» читателя ее очарование в этой (двенадцатой) книге угасает. При этом восхищение Жан-Жаком, уважение к нему остаются прежними. А завершается повествование, как и начиналось, заверениями, что автор искренен, все, о чем он вел речь, чистая правда: «Если некто прознал какие-либо факты, опровергающие то, о чем я ныне поведал, сведения эти, что стали ему известны, будь они хоть сто раз доказаны, – ложь и напраслина, и если он отказывается вникнуть глубже, дабы прояснить их вместе со мной, пока я жив, значит он не любит ни правды, ни справедливости. Что до меня, я объявляю во всеуслышание и без страха: всякий, кто, даже не читая моих писаний, рассмотрит собственными глазами мою натуру, характер, образ жизни, мои склонности, удовольствия, привычки и после этого сможет поверить, будто я человек бесчестный, тот сам таков, что удавить мало...»

⁸² Имеется в виду повесть Бальзака «Турский священник» (1832).

⁸³ Гольбах Поль Анри Тири, барон де (Ольбах; 1723–1789) – просветитель; его салон был местом встреч энциклопедистов.

Да, надо полагать, Руссо в той мере, в какой это позволяют слабости, присущие человеческому сознанию, действительно рассказал правду – свою правду.

Ретиф де ла Бретон. «Совращенная крестьянка»⁸⁴

Эту книгу относят ко второму ряду – заслуживает ли она того, чтобы попасть в первый ряд, как думали Стендаль, который изучал по Ретифу нравы того века, и Жерар де Нерваль⁸⁵, говоривший: «Пожалуй, ни один писатель не обладает в такой степени, как Ретиф, этим драгоценным качеством – воображением»? Поль Валери писал другу в 1934 году: «Я ставлю Ретифа намного выше Руссо. Я открыл „Новую Элоизу“, никуда не годную, и закрыл, как ящик со старыми духами, что воняют и вгоняют в грусть. Ретиф – это сельский Казанова. Я готовлю собственные награды за добродетель (и это не шутка)»... Для Поля Валери добродетель, как и Академия, была условностью, но он знал, как важны условности.

Прав ли он был, ставя Ретифа намного выше Руссо? Не думаю. Эти два виртуоза публичной исповеди имели кое-что общее – чудовищную откровенность, заставляющую преувеличивать, а не скрывать грехи, и чувство слова, примиряющее с тем, что человек мысленно порицает. Но у Руссо намного тверже моральные принципы, намного больше благовоспитанности. Он учился у госпожи де Варанс, госпожи

⁸⁴ Перевод В. Петрова.

⁸⁵ *Нерваль Жерар де* (1808–1855) – писатель, автор биографического очерка о Н. Ретифе де ла Бретоне «Исповедь Никола».

д'Удето и кое-кого еще. А то немногое, что знал о мире Ретиф, он получил от Бомарше, Гримо де ла Реньера⁸⁶, позже – от графини де Богарне⁸⁷. Скромный крестьянин, он вращался в кругу почти одних лишь мелких буржуа. Именно это и делает его незаменимым. У нас нет лучшего живописца простонародной среды XVIII столетия в Париже и провинциальных городах.

Ретиф превосходит других романистов своего времени и разнообразием сцен. Деревенская жизнь, сельские идиллии, насилие, ночные оргии, похищения, юные девушки, развратные и сентиментальные, – мрачные романические истории соседствуют у него с изображением крестьян в духе Жорж Санд. Поль Бурже окрестил Ретифа «питекантропом, из которого развился Бальзак». Сказано довольно верно – и довольно несправедливо. У Ретифа мы находим некоторые наброски человеческой комедии, хотя у него не было ни бальзаковского «ясновидения», ни знания сил, движущих обществом, ни знания сил, движущих человеком. Одолеваемый болезненной чувственностью, он видел вокруг одну лишь ее, среди полей и на улицах города. Сексуальность чрезвычайно важна, но важна не только она.

У него есть представление о стиле и своя манера. «Нрав-

⁸⁶ *Гримо де ла Реньер Александр Бальтазар Лоран* (1758–1838) – французский публицист, издатель.

⁸⁷ *Богарне Фанни де* (1737–1819) – писательница, хозяйка литературного салона.

ственность – что жемчужное ожерелье: развяжите узел, и все ослабнет». Слова, достойные Лабрюйера или Жубера⁸⁸. Но для произведения литературы узел ожерелья – это вкус. У Ретифа вкус был не лучшим. Он слишком рьяно «обнажал» интимную жизнь, свою и чужую. И так и не узнал, что автор может сказать что угодно, прибегая к намекам, иносказаниям. Однако же его постоянно читали, постоянно упоминали наряду с великими. «Руссо рынков и ручьев...» Пусть так – но вы сказали «Руссо»? «Лакло с его „Опасными связями“ – это Ретиф для хорошей компании». Пусть так – но вы сравнили его с Лакло. Все это заслуживает серьезного рассмотрения.

I

Прежде чем говорить о «Совращенной поселянке», следует обратиться к тому, насколько поразительную, трагическую и порой беспутную жизнь вел автор до написания этого романа. Лучший путеводитель по Ретифу, чьи признания не внушают доверия, а исповеди фальшивы, – это прекрасная биография, написанная Марком Шадурном, который многим обязан величайшему ретифисту Джеймсу Райвзу Чайлдсу⁸⁹, человеку бесконечной эрудиции.

Эдм-Никола Ретиф родился в 1743 году в бургундской де-

⁸⁸ *Жубер Жозеф* (1754–1824) – писатель-моралист.

⁸⁹ *Чайлдс Джеймс Райвз* (1893–1987) – американский дипломат, писатель.

ревне Саси. Позже он взял в качестве псевдонима и наконец присоединил к своему имени название фермы Ла-Бретон, которую его отец держал начиная с 1742 года. Это чудесное крестьянское семейство исповедовало протестантизм, потом обратилось от Реформации к янсенизму, не отказываясь от своей веры. Отец ежевечерне читал Библию домочадцам и слугам. Он подавал пример своим трудом и самими что ни на есть подлинными добродетелями. Это не мешало ему любить женщин и саму любовь, но исключительно в браке. От первой жены он имел семерых детей, а после ее смерти утешился с хорошенькой вдовушкой по имени Барб Ферле: в юности она была камеристкой княгини Овернской, затем вернулась в родные края.

Чтобы оценить прелесть, ум и хорошие манеры этих субреток XVIII века, нужно читать Мариво и Бомарше. Эдм Ретиф был вполне достоин Барб Ферле. Уважение окружающих он снискал, сделавшись помощником окружного судьи и, таким образом, нотариусом и мировым судьей своей деревни. Наш Ретиф (де ла Бретон) был первым ребенком от второго брака, в котором также родилось семеро отпрысков. Блестящий, легковозбудимый, смывленный, преждевременно развившийся, он уже в шестилетнем возрасте заглядывал девочкам под юбки. В детстве он научился читать – по латинско-французской Псалтыри. На латыни он писал так же, как на французском, и всю жизнь вел на этом языке заметки о своих распутствах, наивно полагая, что их никто не сможет

разобрать.

Французские деревни в богатых областях были в то время раем для подростков. В рассказах Нерваля, в «Воспоминаниях» Дюма-отца мы находим описания тогдашней молодежи: качание на качелях, с наступлением темноты игры «в волка», «в девственницу» – это была возможность развлечься с девушками. Эдм-Никола, вероятно, никогда не забывал имен очаровательных особ, которые тогда так сильно волновали его. Удивительная эпоха, когда крайняя вольность сочеталась с глубоким почтением к священным книгам. С одной стороны – греховная Бургундия, которая останется таковой и во времена Сидони Колетт⁹⁰, с другой – степенные патриархи, заставляющие вспомнить о крестьянах-протестантах Юга, в чьем исполнении Жид слушал псалмы. Кто знает, тот поймет: две эти противоположности неплохо уживались в пределах одного края.

Пока Бог и Сатана боролись за юного Эдма-Никола, его отец задавался вопросом: кто из него выйдет? Для землешца он был слишком бледным и чувствительным. Адвокат? Священник? Тома, сводный брат, был аббатом и преподавал в семинарии для мальчиков-хористов; ему и доверили ребенка. Суровые янсенисты из семинарии в Бисетре способствовали созреванию его ума. Может, они и спасли бы его от лукавого, если бы новый парижский архиепископ, монсе-

⁹⁰ Колетт Сидони Габриель (1873–1954) – писательница и журналистка.

ньор Кристоф де Бомон, не прогнал этих учеников Янсения. Эдма-Никола поселили у кюре деревни Куржи, и он вспомнил о своих первых желаниях. В его уме начал определяться образ идеальной женщины, единственной, которую он сможет полюбить (для Шатобриана это будет Сильфида). Однажды, явившись к мессе, он увидел ее. То была Жанетта Руссо, скромная, красивая и рослая. «Я всегда просил у Господа только одну такую и буду искать ее до скончания своих дней». И действительно, он до самой смерти искал ту единственную женщину. Для этого он перепробовал тысячи и тысячи других. Так рождаются донжуаны.

Чего он хотел? Одну Жанетту или целый сераль, полный женщин? Он начал писать стихи, в которых просил у короля поместье с ульями, каскадами, вольерами – и двенадцатью одалисками. Вот картина его тайных желаний. «За нехваткой вещественных радостей мой ум питался воображаемыми». Отныне он будет жить на грани мечты и реальности, порой погружаясь в омерзительную действительность и мечтая о райской любви. Почему бы попросту не отправиться к своему отцу в Ла-Бретон, не трудиться бок о бок с ним, не жениться на одной из девушек из Саси, с которыми он проводил вечера? Но отец предназначал его не для этого. Юноша был создан не для фермерской жизни. Его отдали в учение Фурнье, печатнику из Осера. Эдму-Никола было тогда семнадцать лет.

Господин Фурнье был толстяком-сластолюбцем; когда

прибыл новый ученик, его жена Колетт находилась в Париже. Печатники травили Эдма-Никола, он стал для них рабом и игрушкой; хозяин же отправлял его есть на кухню. Все изменилось с возвращением госпожи Фурнье. Колетт Фурнье (он выведет ее в «Господине Никола» под именем Колетт Парангон)⁹¹ сыграла в жизни Ретифа, *mutatis mutandis*⁹², ту же роль, что госпожа де Варанс в жизни Руссо. «Представьте себе высокую женщину, превосходно сложенную, в лице которой в равной мере соединились красота, благородство и эта присущая француженкам прелесть, столь пикантная, умеряющая величественность... Голос робкий, нежный, звонкий, проникающий в душу, походка соблазнительная и пристойная, прекрасная грудь, каждая округлость которой образует по отношению к плечу почти горизонтальную линию... Любезный, привлекательный тон... Такой была Колетт по прибытии из Парижа».

Надо ли говорить, что чувствительный юноша тут же безумно влюбился в нее? Но Колетт, в отличие от госпожи де Варанс, не собиралась заниматься чувственным воспитанием подмастерья. Буржуазная добродетель не допускала аристократической беззастенчивости. Колетт отметила хорошие манеры юного Ретифа, подивилась его образованности, позволила читать ему Расина (рискованное предприятие) и за несколько дней преобразила его жизнь. В «Госпо-

⁹¹ *Parangon* – драгоценность без изъянов (*фр.*).

⁹² С необходимыми поправками, касающимися деталей (*лат.*).

дине Никола» он рассказывает, что был слишком робок и не попытался бы завоевать ее, не вмешайся дьявол; но сатана явился в обличье дурного монаха Годэ д'Арраса, циничного наставника юного янсениста. Существовал ли Годэ д'Аррас на самом деле? Некоторые ретифисты утверждают, что существовал; Марк Шадурн так не думает. В окружении молодого печатника был некий Годэ де Верзи, невежа, совершенно неспособный к интеллектуальной дьявольщине. Что до Годэ д'Арраса, то Шадурн считает его литературным отражением тайных помыслов автора.

Охотно верю. Фауст и Мефистофель – две стороны души Гёте. Госпожа де Мертей и Вальмон выражают те мысли Лакло, о которых мы не можем знать по его поступкам. Несомненно, имморалист Меналк⁹³ – это сам Жид, развращающий Жида. Жид любил поговорить о дьяволе и хвастался дружбой с ним. В Эдме-Никола Ретифе сосуществовали нежный, набожный юноша, воспитанный Библией, и потенциальный эротоман, возбуждавшийся, когда он открывал ящик и нюхал нижнее белье прекрасной Колетт. Ясно лишь, что в Осере – приняв облик Годэ д'Арраса, а может, и нет – дьявол подчинил себе Ретифа. «Осмелся, осмелся», – шептал дьявол, как будет шептать затем Жюльену Сорелю той самой ночью в Верьере, когда он силой берет руку госпожи де Реналь. Подмастерье осмелился. Чтобы «набить руку», он покоряет Маделон, юную прекрасную соседку; она зачинает

⁹³ Меналк – персонаж романа А. Жида «Имморалист».

ребенка, избавляется от него и умирает. С любовью не шутят. Мен Блонд, еще одна хорошенькая девушка, забралась на карниз, чтобы попасть в комнату пылкого подмастерья. «Осмелся, осмелся», – и он заканчивает тем, что набрасывается на самую добродетельную Колетт. Добился ли он своего? Он утверждает, что добился, но умел ли он вообще различать свои желания от их осуществления? Так или иначе, из-за своей «преступной» дерзости он, похоже, был отвергнут: «Подавленный ее суровостью, я избегал ее в дальнейшем...» В сентябре 1755 года он отправился водным путем в Париж.

Париж 1756 года был жалок, если говорить о бедных кварталах. Огромный, плохо освещенный, плохо замощенный город, без канализации, без уличных фонарей, где наряду с тысячами достойных людей обитал опасный сброд – мошенники и проститутки. Там, где разврат богачей встречался с нуждой бедняков, порок только умножался. Романы того времени поражают тем, сколько в них матерей, готовых продать своих дочерей. «В Париже, – пишет Ретиф, – сношения, пожалуй, происходят с большим бесстыдством, ибо их почти не сдерживает общественное мнение... Рабочий день и ночь выдерживает самый тяжкий труд... надеясь в воскресенье посетить кабачок и выпить отвратного вина с грубым, малопривлекательным предметом своей любви».

Такой и была печальная жизнь наборщика Ретифа в Париже, зарабатывавшего мало и обитавшего в меблированных

комнатах, только работа не давала ему окончательно вступить на путь разврата. Его сестра Женевьева, также приехавшая в Париж из Саси и оказавшаяся на панели, вела себя настолько скверно, что родственники поместили ее на восемь лет в тюрьму Сент-Пелажи: она вышла оттуда, лишь выйдя замуж за кучера фиакра. В 1757 году Ретиф узнал о кончине госпожи Фурнье, своей прекрасной осерской хозяйки. «Жуткая пустота в моем сердце росла с каждым мгновением устрашающим образом... Той, чьего презрения я боялся больше смерти, не стало». С тех пор он движется «от падения к падению, от мечты к мечте», от любовницы к любовнице. Это любовницы воображаемые или настоящие? Увы! Продажные женщины были явью, прекрасные актрисы – грезой. И все же один трогательный эпизод можно счесть правдивым: Зефира, маленькая куртизанка, воспрямившая благодаря любви, умерла как раз тогда, когда, возможно, была готова наставить на путь истинный этого Дон Жуана сточных канав.

После смерти Зефиры, в 1760 году, он женился на подлинной мегере – Агнес Лебеск из Осера, которая тут же изменила ему самым бесстыдным образом. (Позднее она станет любовницей кроткого Жубера!) Испытывая полнейшее отвращение к жизни, Ретиф решает бежать от нее. Этот наборщик уже давно мечтает набирать не чужие романы, а историю своей жизни. В 1766 году у вдовы Дюшен вышла его первая книга, «Добродетельное семейство». Ему было тридцать три. Следующие семь лет, прозябая в неизвестности, он с

поразительной легкостью сочинял роман за романом, стора от желания исповедоваться во всем сразу – и придать событиям ход, в котором им отказала Судьба. Наконец в 1774 году был опубликован роман «Совращенный поселянин, или Опасности городской жизни», в 1784-м – «Совращенная поселянка, или Ужасающая и нравоучительная история Урсулы Р***, сестры Эдмона-поселянина». Затем он объединил обе книги в одну, «Совращенные поселянин и поселянка».

Успех был громадным. «Чтобы оценить, какое потрясение вызвал этот новый роман, – писал корреспондент Гримм⁹⁴, – достаточно сказать, что несколько человек приписали его господину Дидро, а еще больше – господину де Бомарше. Мы полностью уверены, что это не господин Дидро, но надо признать: несмотря на слухи о том, что он принадлежит известному мастеру-печатнику, а именно господину де ла Бретону, невозможно не заподозрить почти на каждой странице, что господин де Бомарше одолжил ему свое перо и свой талант». Превосходная похвала, ибо господин де Бомарше не одалживал ничего поселянину-печатнику. То, что мадемуазель де Леспинас⁹⁵ и многие другие прекрасные дамы пролили слезы, – заслуга одного Ретифа. Это правда, что полиция пре-

⁹⁴ Речь идет о рукописной газете Ф. М. Гримма (1723–1807) «Корреспонданс литерер» (1753–1792), которая рассылалась привилегированным особам во Франции и за границей (тираж 15–16 экземпляров) и освещала новости литературы, науки, искусства и общественной жизни.

⁹⁵ *Леспинас Жюли де* (1732–1776) – хозяйка литературного салона, писательница.

следовала книгу как скандальную и несовместимую с добропорядочностью; ее называли «кучей навоза, где затерялось несколько жемчужин». И однако «все хотели прочесть ее, и очень многие находили в ней яркие картины, хорошо обрисованные характеры, глубокое знание столичного общества, увиденного глазами человека определенного состояния».

II

Что же такое «Совращенные поселянин и поселянка»? Автобиография? Не вполне. Автобиография Ретифа начнется с «Жизни отца моего», где он изобразит сельские нравы времен своего детства; ее продолжит «Господин Никола, или Тайны человеческого сердца», где он опишет свои любовные приключения. «Совращенные поселянин и поселянка» – чрезвычайно романизированное, часто мелодраматичное повествование о том, что *могло бы* случиться с Эдмом Ретифом и его сестрой Женевьевой, прибывшими из своей родной Бургундии и оказавшимися в парижской грязи. Главные персонажи – Эдмон, поселянин, в котором угадывается автор; Урсула, сестра Эдмона; Пьер, их брат, якобы издатель писем; Фаншон, жена Пьера; госпожа Парангон, святая женщина, списанная с госпожи Фурнье, и главное – Годэ д'Аррас, искуситель, внутренний демон Ретифа, чей образ,

возможно, вдохновлен Ловласом из «Клариссы Гарлоу»⁹⁶ и в свою очередь вдохновит Шодерло де Лакло (Вальмон из «Опасных связей»; дальше мы покажем различия между ними) и Бальзака (Вотрен).

Это плутовской роман, где все развивается стремительно, от интриги к интриге, от надувательства к надувательству, так что разнообразие приключений и их ускоренный темп слегка сбивают читателя с толку; но это также эпистолярный и сентиментальный роман, наподобие «Новой Элоизы» и «Клариссы». Наконец, многие фрагменты позволили бы сказать, что это роман о любовных похождениях, наподобие «Фобласа»⁹⁷, если бы не беспрестанное вмешательство автора: благочестивые примечания внизу страницы, успокоительные заголовки, предупреждения, напоминающие о нравственном законе и Божьем наказании, ждущем чудовищ. Но в ожидании кары чудовища и читатель развлекаются. «В этом сочинении, – гласит предуведомление автора, – вы найдете и простое, и умилительное, и возвышенное, и ужасное; порок выведен в отвратительном виде; добродетель предстопит перед Божьим престолом; здесь можно узреть наивность, соращение, сластолюбие, разврат, угрызения совести, раскаяние, прекрасное поведение, достойное святой, в одной и той же девице, чей характер не меняется; порок чужд ей,

⁹⁶ «Кларисса Гарлоу» – роман С. Ричардсона.

⁹⁷ Имеется в виду роман Ж.-Б. Луве де Кувре «Любовные похождения шевалье де Фобласа».

а добродетель присуща от природы; предоставленная самой себе, она возвращается к ней».

Предисловие не лжет. Прежде чем испытать соблазны города, Урсула была добродетельной поселянкой, «очень богобоязненной». Вокруг себя, в деревне, она видела одни лишь хорошие примеры. Ее родители были почтенными стариками. Пьер, старший брат, издающий письма после печальной смерти героев, рыдает, говоря об их проступках. Фаншон, его жена, пишет совсем как ученый богослов: «Мне кажется, согласно моему скромному разумению, что дражайшей даме не в чем себя упрекнуть; ибо искушаемый не совершает преступления, в отличие от того, кто поддается искушению, а этого, Бог даст, не случится никогда». Хорошо изображено медленное движение Урсулы к познанию порока – преступная снисходительность к нему, затем понемногу от невольного разврата к очерствению, от продажной любви к самой грязной проституции.

И вот, поместив свою героиню на нижнюю ступень – идти дальше по пути унижения уже некуда, – он заставляет ее возродиться через вновь обретенное благочестие и неожиданный поворот: она становится законной супругой и маркизой. Итак, Урсула была бы спасена, совращенная поселянка сделалась бы обращенной горожанкой, не будь судьба жестока к ней, – в результате мелодраматических случайностей она принимает смерть от руки своего брата, злосчастного Эдмона. Обоих хоронят в родной деревне, надписи на моги-

лах обобщают то, что автор старается донести до нас: «Здесь покойся Эдмон Р***, сын честных и добродетельных родителей; его, однако, испортил город, где он нашел жалкую смерть, подвергнувшись ужаснейшей каре»... «Здесь покойся Урсула***, его сестра, маркиза де ***, которая пребывала в городе вместе с братом, живя там, как он, и была точно так же наказана, глубоко раскаявшись (как он). Да пребудут они в мире. Аминь».

Кое-кто говорил, что религиозная философия, проповедуемая автором, – всего лишь лицемерие, рассчитанное на успокоение читателей и цензоров. И правда: разве мы не видим, что он находит явное удовольствие в описании самых безнравственных деяний? Разве мы не находим в его собственной биографии прообразы смятенных чувств, которыми он упивается? Он показывает, как Урсула и Эдмон впадают в искушение совершить инцест – и поддаются ему. Но, как нам известно из его собственных признаний и, что важнее, из исследований ретифистов, это искушение владело им самим до старости. «Я знаю своего Ретифа, и тело его, и душу... Сразу же говорю: он человек явно несимпатичный», – утверждает господин де Табаран, называющий его «хнычущим невропатом». Да, он немало распространяется о добродетели – но какой добродетели? «Удовольствие, – пишет он, – есть добродетель, скрытая под более веселым именем» – и еще: «Добродетель, делающая несчастным, не есть истинная добродетель». Один из тех, кто говорил о Ретифе,

заметил, что XVIII век «желал сделать приятным все, вплоть до лицемерия».

Мне кажется, что истина сложнее. Когда Ретиф рассуждает о добродетели, он вспоминает хорошо знакомых ему крестьян-янсенистов из Саси. Не следует забывать: он – автор «Жизни отца моего», чистой, благородной книги, в искренности которой нельзя усомниться. Не забудем, что идеалом женщины для него была Колетт Фурнье, превратившаяся в госпожу Парангон, чье имя стало синонимом совершенства. (Возможно, оно позаимствовано из лексикона печатников, ведь «парангон» – это название шрифта; но все равно намерение очевидно.) Письма Фаншон, очаровательной невестки обоих изгоев, проникнуты наивной добротой, которая, признаюсь, трогает меня. Я понимаю, что она заставила плакать мадемуазель де Леспинас.

Но если в нем и замечалась некая склонность к чистоте, несомненная и наследственная, все-таки Ретиф прежде всего был больным человеком. Сочетание рано проявившейся чувственности с крайней робостью породило мрачную одержимость. В любви он был фетишистом и лишался чувств, дотрагиваясь до туфельки желанной женщины. В Париже нищета и занимаемое им положение привели его к самым дрянным проституткам, и естественно, что он, как мог, вознаграждал себя за несправедливость Эроса, описывая роскошную, утонченную любовь. Он – «народный автор», «романист с засученными рукавами». А народ всегда любил ме-

лодрамы. Сегодня ему больше всего нравятся фильмы, показывающие недостижимую и, впрочем, несуществующую жизнь. Ретифу не довелось пережить красивых приключений, и он искал их – тщетно – от Центрального рынка до Пале-Рояля. Он вознаграждал себя ими в романах. Руссо тоже признался как-то раз, что шелковая юбка возбуждает в нем желание скорее, чем превосходный характер или острый ум.

В разглагольствованиях циничного Годэ слышится голос дьявольского и очень умного Ретифа. Годэ – меланхолический и многословный совратитель. «Итак, дражайшая дочь, – пишет он Урсуле, – начните с того, что определите свои принципы, если хотите избежать несчастий и наслаждаться, посреди сладострастия, всеми прелестями добродетели, соединенными со всеми преимуществами порока (да не испугает вас это слово, это всего лишь слово)». И далее: «Любите деньги; для девушки вашего сословия это добродетель, лишь бы только она не переходила в постыдную скупость». Этот дьявол осторожен, как и дьявол Бернарда Шоу⁹⁸. Он намерен сохранять приличия, но имеет вкус ко всему настоящему. В любопытном письме из седьмой части он старается разделить «то, что можно делать» и «то, чего нельзя делать». Это трактат о нравственности, написанный дьяволом.

В двух колонках Годэ проводит различие между тем, чего нельзя делать, если следовать его особому нравственному кодексу, и тем, что человек имеет право делать. «То, че-

⁹⁸ Речь идет о пьесе Б. Шоу «Человек и сверхчеловек».

го нельзя делать: каждый властен над своим телом, но злоупотреблять этим, чтобы наконец погубить себя нравственно и физически, есть преступление перед природой и обществом... Никто не обязан исповедовать ту или иную веру, но если проявлять безрассудство и прилюдно не уважать никакую религию, могут последовать большие несчастья... *То, что можно делать*: разумеется, всякой женщине и всякому мужчине разрешено пользоваться возможностями для получения удовольствия, оставаясь в пределах разумного; обусловленные нашей природой поступки не могут быть преступлениями перед природой. Что до религии, достаточно никого не оскорблять и не содействовать тем, кто желает лишить невежественных людей необходимой им узды».

По правде говоря, это не так уж далеко от воззрений какого-нибудь Вольтера или Дидро. Когда Ретиф вырывается из детства, его философия, по сути, такова же, как у любого человека XVIII столетия. Он верит в природную доброту крестьянина, не развращенного миром и городом. Он презирает общество – то, с которым столкнулся в Париже. Его возмущают привилегии богачей, их власть над чувствами и телами бедных девушек. Он ждет, он возвещает, он хочет Революции; как я уже говорил, в нем есть нечто от Жюльена Сореля. В ожидании необходимых потрясений он предлагает реформы и в этом похож на Вольтера и Руссо. Он хочет реформировать образование, театр, орфографию, проституцию. Позже он захочет обобществления собственности, раз-

дела земель и даже женщин. Он охотно узаконил бы кровосмешение. У Руссо, более здравомыслящего, рассудок берет верх над чувствами; Ретиф отдается своему необузданному воображению.

Но воображение приводит его к поразительным догадкам. В «Совращенной поселянке» (письмо XLVIII) он делает предположение о том, что сифилис и другие заразные болезни распространяются бактериями: по его словам, это «мизантропы, мельчайшие твари, невидимые глазу зверьки, чье семя способно долго сохраняться и затем прорасти в живых телах». Он выдвинул фантастическую теорию относительно эволюции; говорил еще до Ницше о вечном возвращении; знал, что Солнечная система перемещается в пространстве; воображал летающие машины тяжелее воздуха и объявлял, что в будущем солдаты станут сбрасывать с них бомбы. Удивительное сочетание мечтателя-фантаста и писателя-реалиста. Он близок к гениальности.

Высказывалось мнение, что у Ретифа больше гениальности, чем таланта. И все же талант у него имелся. Некоторые деревенские картины (старая поселянка, ожидающая возвращения блудного сына), некоторые сцены в комнатах – в них он, пожалуй, равен великим. Но все портит, с одной стороны, его эротомания: впадая в нее, он лишается дара строить повествование, а с другой – его безудержная болтливость. Он пишет тысячу страниц там, где Флобер написал бы десять. Полный хаос, освещаемый, однако, прекрас-

ными озарениями. «Совращенная поселянка» не трогает нас до слез, но привлекает картинами почти неизвестного нам Парижа, в которых мы чувствуем правду.

III

Лучший способ составить о нем мнение – определить расстояние между ним и теми, с кем его сравнивают. О Руссо я уже говорил: несмотря на известное сходство (откровенничанье о глубоко личном, моралистический цинизм, лиризм, тщеславие преобразователя), он, безусловно, предстает более великим, чем Ретиф. Вслед за Валери я признаюсь, что предпочитаю «Новую Элоизу» «Совращенной поселянке», не из-за притягательности повествования (в этом Ретиф зачастую превосходит его), но из-за качеств его героев. Можно возразить, что Ретиф желал описывать маленький мир, свой мир, которым пренебрегал Руссо. Пожалуй, так – но это вопрос достоинств души и стиля.

От Лакло он отстоит не так далеко, хотя разрыв все же велик. Мы уже приводили фразу: «Лакло – Ретиф для хорошей компании». Да, Лакло перемещает Годэ д'Арраса в большой свет и делает из него Вальмона или скорее маркизу де Мертей. Цинизм «Опасных связей» более откровенный, отрицаемый не так приторно, как в «Поселянке». Президентша де Турвель не столь идеальна, как Колетт Парангон; в ней есть комичные черты, а ее добродетель не так всеобъемлюща. Се-

Силь де Воланж стоит выше всех персонажей, нарисованных Ретифом. Стилль ровнее и чище. Одним словом, Лакло – более значительный писатель, но он жил позже Ретифа и, наверное, научился многому у своего предшественника.

Перейдем к Жерару де Нервалю, который чрезмерно восхищался Ретифом, – что удивляет, если вспомнить о разнице в их темпераментах, – и посвятил ему чудесную книгу: «Исповедь Никола». Здесь есть некое недоразумение. Поскольку детство Никола в Саси напоминает сцены из «Сильвии»⁹⁹, поскольку Ретиф считал себя влюбленным в актрису, как Нерваль в Женни Колон, поскольку и тот и другой верили в переселение душ, Жерар признавал родство их талантов. «Поразительно, что чувственный, циничный Ретиф в конечном счете повлиял на развитие безумного и великолепного воображения Нерваля, приведшего его к христианской вере. И однако это так». Прибавим, что в Ретифе-подростке, возможно, угадывался Нерваль – вскоре убитый эротизмом.

Вспомним слова Поля Бурже: «Питекантроп, из которого развился Бальзак». Несомненно, в Бальзаке есть кое-что от Ретифа, последний подготовил публику к реалистической и «народной» литературе, совершенно отличной по сюжетам и стилю от классической литературы. Аббат Прево и Ретиф, возможно, дали Бальзаку не меньше, чем Фенимор Купер и Вальтер Скотт. Вотрен, дающий советы Люсьену де Рюампре, напоминает Годэ д'Арраса, дающего советы Эдмону. Но

⁹⁹ «Сильвия» – повесть Ж. Нерваля.

в Бальзаке несравненно больше силы. Ретиф был неспособен создать Вотрена или Гобсека. Он слишком занят собой, чтобы давать свою душу взаймы прекрасным чудовищам. Можно пожалеть, что он не заставил госпожу Парангон написать Эмиону письмо с наставлениями, достойное того, которое послала Феликсу де Ванденесу госпожа де Морсоф¹⁰⁰. С учетом этих оговорок остается неоспоримым, что Ретиф – один из создателей народного романа во Франции и что его отступления социального и философского толка предвещают бальзаковские.

Мы знаем, что Флобер читал Ретифа, – так как заимствовал у него песню слепца для «Госпожи Бовари», – но стилист в нем не мог восхищаться этими бурными излияниями. На самом деле Флобер воплощает в себе реакцию художников слова на реалистический роман, линия которого идет от Ретифа к Бальзаку. Ретиф сел бы в фиакр к госпоже Бовари; Флобер довольствуется тем, что видит обнаженную руку, приподнимающую занавеску, и белые клочки бумаги, разлетающиеся по ветру. Что касается Жида, я уже отметил возможное сходство: детская набожность, смятение чувств, добродетель и бесовщина уживаются в одной личности, роль Меналка в «Имморалисте» похожа на ту, которую играет Годэ. На этом общее заканчивается. Жид – крупный буржуа в той же мере, в какой Ретиф простолюдин; Ретиф счел бы чувственность Жида противоестественной; ко-

¹⁰⁰ Речь идет о героях романа Бальзака «Лилия в долине».

гда Жид проявляет цинизм, он больше напоминает автора «Опасных связей», чем автора «Поселянки».

IV

Конец Ретифа-человека был жалким. Революция, которую он призывал, обернулась для него преследованиями и нищетой. Разврат имел последствиями обычную череду недугов. Он был отпет, «совершенно по-христиански», 3 февраля 1806 года в Нотр-Дам, его приходской церкви; тысяча восьмьсот человек проводили его на кладбище. «Пребывание в аду, – пишет Марк Шадурн, – для него закончилось». Но сочинения остались. Вот уже полтора века они беспрестанно переиздаются и исследуются. И не только потому, что автор без стеснения говорит обо всем. «Поселянка», только что перечитанная, показалась мне маломудренной, но нисколько не скабрёзной и куда менее шокирующей, чем какой-нибудь роман, написанный в наши дни молодой женщиной и едва не получивший премию от жюри, составленного из богатых вдов. Впрочем, будь скабрёзность гарантией долговечности, многие сочинения, сегодня не находящие читателей, пережили бы свое время.

Это длительное расположение публики объясняется более вескими причинами. Прежде всего тем, что роман, подобный «Поселянке», – одно из редких правдивых изображений народного, разгульного Парижа, его улиц, притонов, эспла-

над, домов терпимости. В книге чувствуется талант. В ней много страниц, но читать ее не скучно. Стил ь не взят у Дидро, а принадлежит самому Ретифу, и он лучше, чем у более почтенных писателей, отличавшихся примерной жизнью и примерными нравами. «Совращенные поселянин и поселянка» – один из лучших романов XVIII века. Наконец, в нем есть поэзия и переживания. Они порождены правдой этой книги, во многом автобиографичной. Жюль Ренар в своем дневнике признается, что именно воспоминания Ретифа о детстве подали ему идею описать любовные чувства Рыжика¹⁰¹. Правда восхитительна и неподражаема. Страсть Ретифа к женщинам была подлинной. «В этом секрет его жизни и его гения, его величия и его упадка». Однажды он написал: «Если только юные портнихи, белошвейки, законодательницы мод, которым понравились другие мои романы, прочтут еще и этот, я буду доволен и брошу вызов всем *умникам*».

В те времена, как он того и желал, его читали белошвейки и портнихи; он вряд ли сохранил их расположение, но удержал при себе *умников*. Бенжамен Констан зачитывался его романами. Шиллер настойчиво рекомендовал Ретифа Гёте, который оценил его и выразил желание познакомиться. Бодлер писал своему издателю Пуле-Маласси: «Где же Ретиф, у которого столько чудесных, пленительных отрывков?» Реми де Гурмон¹⁰² считал, что его исповедь правдоподобнее, чем

¹⁰¹ Имеется в виду персонаж одноименной повести Ж. Ренара.

¹⁰² Гурмон Реми де (1858–1915) – писатель и критик.

исповедь Жан-Жака. И Поль Валери, как мы видели, ставил его выше Жан-Жака – проявив великодушие, но хватив через край. Эмиль Анрио¹⁰³ относил его к второстепенной литературе – но к самой что ни на есть первоклассной. Ну а мы...

Кто бы мог подумать в 1784 году, что у автора «Совращенной поселянки» будут читатели в 1984-м? Однако они будут. Ведь то, что естественно, нисколько не стареет.

¹⁰³ *Анрио Эмиль* (1889–1961) – поэт, писатель, литературовед.

Лакло. «Опасные связи»¹⁰⁴

Перед вами книга с довольно странной судьбой. Она очень известна и считается одним из прекраснейших французских романов. И в то же время место, занимаемое ее автором в истории литературы, незначительно, практически ничтожно. Сент-Бёв, повествующий даже о писателях никому неведомых, едва уделяет ему пару строк; Фаге, чьи критические этюды посвящены крупнейшим авторам XVIII века, пренебрегает им вовсе. Другие хоть и отдают должное «Опасным связям», но считают книгой скверной, едва ли не источающей серный запах. Жид похваляется любовью к ней так, словно не без гордости признается в дружбе с дьяволом.

Неужели же роман действительно до такой степени скандальный? Повествование выдержано в немного холодной, отстраненной манере, напоминающей язык Расина и де Ла-рошфуко, а иногда даже (я мог бы привести наглядные примеры) язык Боссюэ.

Автор не прибегает к обценной лексике и при описании откровенных сцен проявляет осторожность, которая зачастую удивила бы наших современников. В сравнении с хотя бы одной страницей из Хемингуэя, Колдуэлла, Франсуазы Саган Лакло предстает писателем для чистых душой.

Так почему же строки его книги вызывали одновременно

¹⁰⁴ Перевод Н. Вернера.

обожание, страх и возмущение? Именно это нам и предстоит объяснить.

1. Автор

Лакло – или чаще Шодерло де Лакло – один из тех писателей, которые обязаны своей славой лишь одной книге. Однако после «Опасных связей» многое остальное едва ли будет совершенно забыто. Он обладал дерзновенным духом Стендаля, всегда готовым к любым опасностям, но был человеком замкнутым и казался современникам странным. Мы знаем, что по натуре он был холоден и умен, но не любезен – «высокий и худой господин с желтоватым цветом лица, по обыкновению одетый в черное». Сам Стендаль, повстречавшийся с Лакло ближе к концу его жизни, вспоминал, как увидел пожилого генерала артиллерии в ложе губернатора Милана, «коего... почтительно приветствовал как автора „Опасных связей“».

Казалось, ничто не располагало молодого лейтенанта Лакло создать нового французского Ловеласа. С 1769 по 1775 год он служил офицером в Гренобле, в одном из французских гарнизонов, где проводил время, нимало не скучая. Здесь он наблюдал за жизнью местных дворян, чьи нравы были весьма фривольны. «Молодые люди, получая деньги от своих богатых любовниц, тратили их на прекрасные наряды и содержание бедных возлюбленных». Однако сам Лак-

ло не проявлял склонности к такому образу жизни. Один из его биографов утверждает, что, подобно тому как Стендаль служил на войне интендантом, Лакло «служил» в разведывательном управлении на любовном фронте. Он любил беседовать с дамами, выслушивая их откровения, — ведь дамы охотнее доверяют свои тайны стороннему наблюдателю, чем великому завоевателю сердец, и только ждут приятного случая поведать подробности своих любовных историй. Генри Джеймс и Марсель Пруст, даже Лев Толстой извлекали большую пользу из подобной женской болтовни. Порой из маленьких сплетен рождаются великие романы.

Лакло был большим поклонником Руссо и Ричардсона. Он множество раз перечитывал «Клариссу Гарлоу», «Новую Элоизу» и «Тома Джонса». Это помогло ему изучить технику написания романа. В Гренобле не было недостатка ни в интересных персонажах, ни в занимательных историях. Так, маркиза де ла Тур дю Пин-Монтобан, как считается, послужила прототипом маркизы де Мертей. Если рассматривать «Опасные связи» как правдивый портрет аристократии Гренобля XVIII века, то, вероятно, она была ужасающе порочной. Но часто романисты выдают за обычаи века то, что по сути является лишь «историями о паре десятков хлыщей и шлюх». В то время как остальные горожане вели тихую и размеренную семейную жизнь, горстка циников и либертинов заполняла салоны и страницы прессы рассказами о своих блестящих авантюрных похождениях.

Стоит отметить, что, хотя Лакло по счастливой случайности и получил дворянство, он не любил «высший свет» и с удовольствием разоблачал его пороки. В 1782 году Революция уже зрела во многих умах, возмущенных несправедливостями и притеснениями. Бедный офицер вроде Лакло, должно быть, питал неприязнь к знатым господам, военная карьера которых складывалась неоправданно легко. Лакло, в надежде снискать военной славы, желавший отправиться в Америку с Рошамбо¹⁰⁵, получил отказ: эти позиции были оставлены для представителей знатнейших фамилий – Сегюр, Лозен, Ноай. «Опасные связи», в сущности, явились для мира литературы тем же, чем для театра – «Женитьба Фигаро»: памфлетом против безнравственного могущественного привилегированного класса. Лакло избегает рассуждений о политике, но читатель волен делать определенные выводы.

Книга наделала много шума. При жизни автора было осуществлено около 50 изданий романа. Публика жаждала раскрыть тайну, кто скрывается за именами персонажей. В то время, когда знать была одержима революционными идеями не менее буржуазии, взрыв этой бомбы восприняли восторженно. Занятно, что любой прослойке общества – будь то дворянство или буржуазия – более интересны те, кто ее хулит, чем те, кто осыпает похвалами. Все, от Версаля до Парижа, желали познакомиться с автором. Командующий пол-

¹⁰⁵ Жан-Батист Донасьен де Виме, граф де Рошамбо (1725–1807) – маршал Франции (1791), участник Войны за независимость США и других кампаний.

ком, в котором служил Лакло, был обеспокоен: один из его офицеров – романист и циник? Как это несерьезно... Но Лакло был прекрасный артиллерист – артиллерия прежде романов!

Некоторые сожалели о том, что автор чересчур сгустил краски, однако отмечали тонкое понимание человеческих страстей, мастерски закрученную интригу, искусство создания незабываемых персонажей и естественность стиля повествования. Поразительно, что после оглушительного триумфа столь талантливый романист перестал писать вовсе. Этот истинный знаток человеческих душ продолжал вести непримечательную жизнь провинциального офицера. Еще более удивительно, что этот повеса, этот Макиавелли чувств женился и стал верным и любящим супругом. В возрасте сорока трех лет он заметил молодую девушку из Ла-Рошели, мадемуазель Соланж-Мари Дюпере, сестру адмирала Франции. Прочитав «Связи», она сказала: «Никогда нога господина де Лакло не ступит на наш порог!» Лакло ответил: «По истечении шести месяцев я женюсь на мадемуазель Дюпере».

Он действует, как виконт де Вальмон, герой «Связей». Он соблазняет Соланж Дюпере, и она беременеет от него. Он «исправляет» ситуацию, в дальнейшем женившись на ней, и становится – уже совершенно не в стиле Вальмона – сентиментальнейшим из мужей. «Вот уже двенадцать лет, – пишет он жене, – как я обязан тебе своим счастьем. Прошлое – за-

лог будущего. Я с огромным удовольствием вижу, что наконец ты чувствуешь себя любимой, однако позволь мне сказать, что ты могла быть в этом уверена все двенадцать совместных лет». Он хвалит жену за то, что она «великолепная любовница, прекрасная супруга и нежная мать». Располнела ли она? «Да, но тебе это только к лицу!»

Вот такой счастливо женатый Ловелас. Он даже задумал написать роман, в котором основной мыслью выводилось бы, что счастье возможно только в семье. Однако сложность увлечь читателя произведением без романтических коллизий заставила его отказаться от замысла. Наверное, это было верное решение, поскольку о благополучной семейной жизни получают неважные романы. Андре Жид радовался, что Лакло оставил идею романа, столь несвойственную его гению, сомневаясь, что замечательно одаренный создатель «дьявольских персонажей» мог искренне любить добродетель.

«Нет никаких сомнений, – пишет Жид, – что Лакло идет рука об руку с сатаной». Я не так уж в этом уверен. Скорее всего, Лакло попросту понял, что сатана поможет ему снискать популярность. Вот слова самого Лакло: «Написав пару-тройку стихотворений и изучив ремесло, однако не принесшее мне большого успеха, я решился на сочинение, которое выходило бы за рамки повседневности, наделало бы много шуму и гремело бы даже тогда, когда сам я уже покину эту землю». Такова была его цель, и он достиг ее.

Виконт де Ноай, почитатель таланта Лакло, представил писателя герцогу Орлеанскому, который пожаловал тому должность секретаря личных поручений. Во времена Революции Лакло фактически управлял принцем (насколько возможно было управлять столь переменчивым умом) и плел поистине дьявольские интриги против короля и королевы. Герцог надеялся свергнуть своих суверенов, опираясь на поддержку народных масс, и стать регентом. Лакло поддерживал его в этом решении и старался помогать во всем.

Его тайные страсти еще явственнее свидетельствуют о стремлении руководить. Он вступил в Якобинский клуб и стал одним из самых влиятельных его членов. В 1792 году Дантон отправляет его в армию для надзора за престарелым маршалом Люкнером¹⁰⁶, чтобы предотвратить позорное дезертирство этого солдата-чужестранца. Лакло, превосходный офицер, реорганизовал армию и подготовил условия для победы при Вальми. Но дальнейшее предательство его командира генерала Дюмуре¹⁰⁷ бросало тень и на Лакло – вскоре он был арестован.

Девятое термидора (казнь Робеспьера и конец Террора) спасло его от казни гильотиной. Назначенный бригадным генералом при Бонапарте, он командовал артиллерией Рейн-

¹⁰⁶ Люкнер *Николя (Николаус) фон* (1722–1794) – французский военачальник периода абсолютизма, маршал Франции (1791), немец по происхождению.

¹⁰⁷ Дюмуре *Шарль Франсуа* (1739–1823) – генерал Республики; в 1793 г. перешел на сторону австрийцев.

ской армии, а затем Итальянской. В 1803 году, когда Лакло служил в составе корпуса Мюрата в Неаполе, ему поручили оборону Таранто. Здесь он и умер от дизентерии.

Так сложилась уникальная карьера этого талантливого солдата, который, однако, прославил свое имя тем, что создал шедевр литературы.

II. Роман и персонажи

Вполне естественно, что почитатель Клариссы Гарлоу задумал написать именно роман в письмах. Сама форма эта несколько искусственна, ведь в жизни самое важное происходит в разговорах и делах. Но в письмах их можно пересказать и живописать. Письма позволяют автору блеснуть мастерством тонких наблюдений. В письме есть и прямое изложение событий, и то, о чем пишущий пытается умолчать. Письмо выдает и разоблачает. Лакло очень гордился разнообразием стилей, одолженных им своим персонажам. Но на самом деле оно не так уж исключительно, как казалось автору. Все его герои безупречно выражают свои мысли на прекрасном французском XVIII века – когда молодая девушка, едва покинувшая монастырь, обладала настолько изящным слогом, что могла бы посрамить современных нам писателей.

В книге противопоставлены две группы персонажей: хищники и жертвы. Хищники – это маркиза де Мертей, знатная

дама-либертинка, циничная и вероломная, она, не колеблясь, когда есть причины для мести, нарушает все правила, которые для иных составляют мораль; и виконт де Вальмон – профессиональный донжуан, опытный покоритель женских сердец, беспринципный, часто ведомый госпожой де Мертей, периодически восстающий против нее. Жертвы – это президентша де Турвель, красивая, набожная и чопорная супруга буржуа, которая стремится к тихой семейной жизни; Сесиль де Воланж, неопытная, но, сама того не осознающая, чувственная молодая особа, которую без ее согласия мать желает выдать за «престарелого» графа де Жеркура (ему тридцать шесть лет), влюбленная в шевалье Дансени; и наконец, сам Дансени, которого, вовсе не питая к нему нежных чувств, соблазняет и делает своим любовником госпожа де Мертей.

Связи между этими персонажами весьма многочисленны и крайне запутаны. Жеркур хочет жениться на юной Воланж, до этого он был любовником госпожи де Мертей и предал ее. Она жаждет отомстить и намеревается использовать Вальмона, который также был ее любовником в прошлом, но теперь остается ее другом. Отношения Вальмона и госпожи де Мертей абсолютно лишены лицемерия. Некогда они наслаждались друг другом и, возможно, однажды снова станут любовниками, однако случится это не по велению страсти, которой здесь нет места. Они вступают в сговор, подобно настоящим преступникам, – не доверяя друг другу, но отдавая

должное профессиональному мастерству.

О чем просит госпожа де Мертей? Пусть Вальмон соблазнит юную Сесиль и станет ее любовником до свадьбы с Жеркуром. Таким образом, Жеркур будет выглядеть дураком в глазах всего высшего света; более того, услуга, о которой просит госпожа де Мертей, совсем не неприятна. Сесили пятнадцать лет, и она очень привлекательна; почему бы не срезать этот розовый бутон? Вальмон поначалу не испытывает большого энтузиазма. Соблазнить наивную и неопытную девушку, которая ничего не видела в жизни? Предприятие, не слишком достойное его талантов. Он занят иной авантюрой, которая сулит ему больше славы и удовольствия, – завоеванием неприступной, целомудренной и суровой президентши де Турвель. Заставить уступить эту воплощенную добродетель – вот цель, к которой он стремится. Его стратегия заключается в том, чтобы говорить с ней не о любви, но лишь о религии. В надежде наставить его на путь истинный она соглашается принять его у себя. Дьявол во плоти обращается отшельником. Отшельник постарается поскорее стать любовником.

Вскоре все три сюжетные линии причудливо переплетаются. Юный Дансени, попав в немилость к матери Сесиль, поручает Вальмону доставить ей любовные послания. Перспектива обмануть доверие друга добавляет некоторой остроты соблазнению невинной девушки. Теперь Вальмон и сам желает юную Сесиль. Под предлогом необходимости

вручить ей письма Дансени он проникает в спальню девушки, крадет поцелуй, а за ним еще один, и еще. И вот он любовник очаровательной девицы, которая даже не понимает, что с ней произошло: тело ее принимает ласки Вальмона, но сердце отдано Дансени.

Этот успех, однако, не мешает Вальмону продолжать завоевание несчастной президентши Турвель. Наконец ему выпадает случай решительно объясниться. Она пытается бежать, но сопротивление лишь распаляет азарт Вальмона.

У него есть все основания праздновать победу, поскольку бедная женщина уже почти потеряла голову от любви. Но как сделать победу окончательной? Нет ничего лучше старых испытанных приемов. Вальмон изображает отчаяние. Он выкалывает желание уйти в монастырь. Госпожа де Турвель вновь вынуждена принять его у себя. «Обладать вами либо умереть!» – провозглашает он и, когда она все-таки предпринимает слабую попытку ускользнуть, произносит, понизив голос до зловещего шепота: «Итак, значит, смерть!»¹⁰⁸ Без чувств она падает в объятия Вальмона. Он победил.

Жертвы съедены. Но вот пробил час расплаты и для виновных. Президентша Турвель уверена, что своим падением она сможет обеспечить спасение души Вальмона. Кажется, он вполне искренне в нее влюблен. Но разве допустит маркиза де Мертей торжества добродетели или подлинного чувства? Она насмехается над Вальмоном и бросает ему вызов,

¹⁰⁸ Здесь и далее роман цитируется в переводе Н. Я. Рыковой.

принуждая немедленно порвать с президентшей Турвель и вернуться к ней. Этот вызов возбуждает азарт Вальмона; он бросает президентшу и пытается вернуть маркизу. Из чистого тщеславия он покидает прелестную женщину, которую только что с таким усердием добивался, и адресует ей неслыханное по своей жестокости письмо – продиктованное госпожой де Мертей. Лишившаяся иллюзий и отчаявшаяся госпожа де Турвель не имеет сил преодолеть отвращение к самой себе и вскоре умирает, истерзанная угрызениями совести.

Однако госпожа де Мертей ссорится с Вальмоном и открывает Дансени правду о Сесили де Воланж. Дансени бросает Вальмону вызов и убивает его на дуэли. Обещанная Сесиль отправляется в монастырь. Госпожа де Мертей остается одна. Но и она будет жестоко наказана. Судебный процесс, который должен решить судьбу всего ее состояния, проигран, она разорена. Она заболевает оспой, но выживает – обезображенная, потеряв глаз и поистине внушающая отвращение.

«О великая Немезида!» – воскликнул лорд Байрон. «Как можно без содрогания помыслить о бедствиях, которые способна причинить хотя бы одна опасная связь!» – так заканчивается это ужасно аморальное моралите. Сцена завалена трупами. На ум невольно приходит концовка Гамлета.

III. Любовь – война

Неужели подобная мрачная история могла случиться на самом деле? Несомненно, нравы того времени были весьма свободными. Супруги из высшего общества виделись редко. Они жили под одной крышей – вот, пожалуй, и все. Подлинное чувство было редкостью – это считалось смешным и нелепым. При виде пылких влюбленных окружающие испытывали «неловкость и скуку». Такое поведение противоречило правилам. В этой неограниченной свободе нравов представления о морали терялись, – что, конечно, было на руку обществу в целом: «По словам Безенваля¹⁰⁹, флирт между мужчинами и женщинами поддерживал в нем бодрость духа и ежедневно доставлял рассказы о пикантных похождениях». Здесь не было места ревности. «Мы влюбляемся, забавляемся друг с другом, расстаемся и... начинаем все сначала».

Означенная вакханалия, надо сказать, происходила довольно скрытно. На публике все – манеры, жесты, наружность – выглядело прилично. Свобода поведения никогда не проявлялась в словах. «У Лакло даже в самые игривые моменты персонажи говорят языком Мариво». Внешне все было безупречно. Муж, неожиданно заставший жену с другим,

¹⁰⁹ *Безенваль Пьер Виктор де* (1722–1793) – французский генерал-лейтенант, автор «Мемуаров, анекдотов, политических и исторических».

нежно говорил ей: «Какая неосторожность, мадам! А если бы это оказался кто-нибудь другой, а не я...» Английское высшее общество, впрочем, было немногим более брезгливо, чем французское. Вальмон – это своего рода Байрон, который, к слову, был знаком с произведением Лакло и старался подражать его герою. Перечитайте переписку Байрона и леди Мельбурн. Вы обнаружите, что они обсуждают любовные похождения в том же тоне, что и госпожа де Мертей и Вальмон. Обоим свойственно то же циничное, равнодушное отношение к своим жертвам, и занимает их техника, а не сантименты. Какие слова, какие поступки заставят женщину уступить? Тактические схемы, никакой любви. Разница лишь в том, что Байрон все же менее безжалостен, нежели Вальмон. Ему случается и пощадить понравившуюся женщину, уже почти оказавшуюся у него в руках, – как это было с леди Фрэнсис Уэбстер. Ему также случалось включаться в игру всем сердцем. Байрон совращает свою единокровную сестру Августу, но тут он действительно влюблен.

Маркиза де Мертей, напротив, не признает ни жалости, ни любви. Сам Вальмон – также без малейших угрызений совести – ломает жизнь невинной Сесиль. Разве это естественно, разве может человек быть настолько жесток? И мыслима ли подобная жестокость в любви, которой свойственно пробуждать в душе нежность и привязанность к партнеру? В этом как раз и есть драма Дон Жуана, героя бесчисленных литературных произведений, покорителя женских сердец.

Как формировался образ Дон Жуана? Почему столь безжалостен Вальмон? История жизни Байрона немного проливает свет на эти вопросы. Байрон был сентиментальным и нежным влюбленным до того дня, пока первая его любовь не предала его. Всю свою дальнейшую жизнь он будет мстить женщинам за это предательство.

В его похождениях им руководили более тщеславие и жажда реванша, нежели желание. Вальмон же подобен тем диктаторам, которые нападают на беззащитные страны, чтобы продемонстрировать всему миру свою отлично подготовленную армию. Его словарь – это словарь солдата, геометра, стратега, но никогда – влюбленного. «Доселе, прелестный друг мой, Вы, я думаю, признавали за мной такую безупречность метода, которая доставит Вам удовольствие, и Вы убедитесь, что я ни в чем не отступил от истинных правил ведения этой войны, столь схожей, как мы часто замечали, с настоящей войной. Судите же обо мне как о Тюренне или Фридрихе. Я заставил принять бой врага, стремившегося лишь выиграть время. Благодаря искусным маневрам я добился того, что сам выбрал поле битвы и занял удобные позиции, я сумел усыпить бдительность противника, чтобы легче добраться до его укрытия. Я сумел внушить страх еще до начала сражения. Я ни в чем не положился на случай, разве лишь тогда, когда риск сулил большие преимущества в случае успеха и когда у меня была уверенность, что я не останусь без ресурсов в случае поражения. Наконец, я начал

военные действия, лишь имея обеспеченный тыл, что давало мне возможность прикрыть и сохранить все завоеванное раньше».

Любовник, подобный Вальмону, – подлинный стратег. Его также можно сравнить с матадором. Падение женщины, оказавшейся в полной его власти, равносильно ее смерти. Для тех жертв, которые не согласны уступить добровольно, – таких как малютка Сесиль или президентша Турвель, – у него наготове искусно расставленные сети. Это всегда драматичная игра. Подобно тому как матадор не любит сражаться с больным и слабым зверем, донжуан вроде Вальмона находит удовольствие в яростном противостоянии и зрелище слез. Или, заимствуя образ из иной области: «Предоставим жалкому браконьеру возможность убить из засады оленя, которого он подстерег: настоящий охотник должен загнать дичь <...> Мне мало обладать ею – я хочу, чтобы она мне отдалась».

«Я хочу». Речь идет об утверждении своей воли. Внимательно прочитайте 81-е письмо, где госпожа де Мертей рассказывает Вальмону о своей жизни. Это пример существования, спланированного до мельчайшей детали. Малейший жест, выражение лица, голос – маркиза неустанно контролирует все. Против любовников у нее всегда есть неотразимые козыри, способные погубить их репутацию: «...я умела, заранее предвидя разрыв, заглушить насмешкой или клеветой то доверие, какое эти опасные для меня мужчины могли

приобрести». Читая это примечательное – и ужасное – письмо, мы вспоминаем свирепых дипломатов Возрождения либо героев Стендаля. Но мужчины и женщины Возрождения закаляли волю во имя утверждения власти. У маркизы Мертей и Вальмона, равно как и у их последователей, лишь одна цель: сексуальные утехы – иногда как средство для утоления жажды мести.

Прибегать к столь разрушительным средствам ради столь незначительной цели кажется нам чрезмерным. Столько стратегии, столько холодного расчета – и все ради поистине ничтожного приза? «Женщина, способная действовать столь энергично, – пишет Мальро¹¹⁰, – и наделенная Стендалем таким изощренным умом, которая при этом так долго увлечена одной лишь идеей наставить рога покинувшему ее любовнику, могла бы показаться явлением невероятным, если бы эта книга была не более чем демонстрацией воли, подчиненной сексуальным желаниям. Но здесь совсем иное: эротизация самой воли. Воля и тяга к сексуальным удовольствиям тесно переплетены и помножены друг на друга...» У Лакло идея наслаждения, добытого посредством войны, охоты и принуждения, в чем-то сближается с идеями Стендаля.

Жюльен Сорель, герой «Красного и черного», отваживается взять за руку госпожу де Реналь и поднимается в спальню Матильды; но удовольствие, которое он испытывает от

¹¹⁰ *Мальро Андре* (1901–1976) – французский писатель, культуролог, министр культуры в правительстве Ш. де Голля.

победы над собой, куда более сильное, чем от близости. И все же Стендаль не был так осуждаем моралистами, поскольку уважал священность страсти.

Стоит заметить, что во времена Стендаля Революция и Империя предоставляли возможность направить волю к более достойным целям. Но в светском обществе XVIII века, в провинциальных гарнизонах любовные похождения за неимением иного были основным занятием энергичных молодых людей. Влияние в Версале достигалось куртуазными способами, ведь политическая деятельность была недоступна для большинства придворных. Офицеры воевали мало – считанные месяцы за год. Любовные интриги становились важным занятием и, если так можно выразиться, большим спортом. Сам Лакло на славу поохотился в Ла-Рошели на Соланж Дюпере. Придет день, и Революция предоставит ему возможность направить волю и талант на более значительные цели. И тогда он изменится. Бодлер писал об «Опасных связях»: «Революцию сотворили сладострастники. Книги либертинов комментировали Революцию и поясняли ее причины». Те же самые люди, захваченные водоворотом драматичных событий, будут считать своим долгом храбро умереть (и эта легкомысленная французская знать взойдет на эшафот с достойной восхищения твердостью), но пока они являются частью праздного и тщеславного сообщества и предметом своих устремлений видят любовные победы или, как госпожа де Мертей, торжество беззакония. Го-

раздо больше, чем к удовольствиям, она стремится к власти, безраздельному господству, к мести. Должно быть, в детстве у нее самой был некий комплекс неполноценности, унять который способны только самые жестокие реванши. Губить женщин и мужчин, ставить их в трагические или нелепые ситуации – в этом ее счастье.

Кроме того, будучи «женским вариантом Тартюфа», в глазах общества маркиза сумела создать себе образ добродетельной женщины, и это доставляет ей особое наслаждение. Она доводит лицемерие до гениальности и самомнением значительно превосходит Вальмона. «Что совершили вы такого, чего бы я тысячу раз не превзошла?» Мы словно слышим знаменитые строки из «Сида» Корнеля:

И чем, в конце концов, ваш долгий век столь славен?
Любой из дней моих ему с избытком равен¹¹¹.

Воистину не менее чем «долг чести», который во времена Сида заставлял знатных господ пронзать друг друга шпагами на дуэлях, а во времена Лакло призывал оба пола противостоять друг другу в ожесточенных схватках.

Но вернемся к жертвам. Образ Сесиль, возможно, главный шедевр повествования Лакло. Для романиста нет ничего сложнее, чем живописать портрет юной девушки. Все в ней пока что эскиз. Едва покинув стены монастыря, она

¹¹¹ Перевод М. Л. Лозинского.

попадает в руки госпожи де Мертей, которая берет на себя заботу о ее «воспитании». «Она и впрямь хорошенькая... Правда, донельзя неловка и лишена каких бы то ни было манер. <...> Зато у нее томный взгляд, который сулит многое. <...> Не имея ни ума, ни хитрости, она обладает известной, если можно так выразиться, природной лживостью, которой я сама иногда удивляюсь и которой уготован тем больший успех, что обликом своим эта девушка – само простодушие и невинность».

И вот что пишет Вальмон после своей легкой победы: «Я удалился к себе лишь на рассвете, изнемогая от усталости и желания спать. Однако и тем и другим я пожертвовал стремлению встать к утреннему завтраку. Я до страсти люблю наблюдать, какой вид имеет женщина на другой день после события. Вы и не представляете, какой он был у Сесили! Она с трудом передвигала ноги, все жесты были неловкие, растерянные, глаза все время опущенные, опухшие, с темными кругами! Круглое личико так вытянулось! Ничто не могло быть забавнее». Палачи часто бывают сластолюбцами.

Остается президентша де Турвель, капитулировавшая безо всякой борьбы. Нежная, искренняя, преданная – ей остается лишь погибнуть от любви и отвращения. Но президентша – супруга буржуа, в то время как госпожа де Мертей – знатная дама, и их противопоставление является ключом для понимания книги, осуждающей пороки высшего общества. Революция свершалась не только против политиче-

ского беспредела, но и против нравственной распущенности. Пуританство имеет свои недостатки – оно омрачает жизнь, но также придает правящему классу особую силу. Распущенность же элиты порождает зависть, гнев и презрение, а в последствии и бунт подчиненных.

IV. Нравственный или безнравственный?

Является ли роман «Опасные связи» безнравственным? Многие критики относят этот безусловный шедевр к числу книг «неприличных». Сам Лакло в предисловии защищался от подобных оценок. «Мне кажется, чтобы оказать услугу добропорядочности, нужно показать средства, которыми дурные люди пользуются, чтобы привести к падению добрых». Он похвается тем, что открыл две важные истины: «Первая – любая женщина, согласившаяся принять в свое общество безнравственного человека, рано или поздно станет его жертвой; вторая – каждая мать, допускающая, чтобы дочь ее оказывала какой-либо другой женщине больше доверия, чем ей самой, поступает в лучшем случае неосторожно». В добавление он приводит слова, которые ему сказала одна хорошая мать и умная женщина: «Я считала бы, что окажу настоящую услугу своей дочери, если дам ей эту книгу в день ее замужества» – он уверял, что, если все матери семейств так думают, «он будет вечно хвалить себя за то, что все-таки опубликовал ее».

Предложенная автором трактовка могла бы показаться нам наивной, но лишь в том случае, если мы полагаем, что сам Лакло действительно в это верил. Несомненно, в конце книги злодеи несут наказание – проигрывая процесс, заболевая оспой или погибая на дуэли; также несомненно, что преступление, совершенное ими, не окупается. Но и с добродетелью обошлись не лучше – благочестивая госпожа де Турвель заканчивает почти так же печально, как и маркиза де Мертей. И тем паче автор не уверен, что читатель отвернется от дурных нравов, глядя на несчастья тех, на чьем примере они ему предъявлены. Возможно, зависть к их необузданному пороку окажется сильнее, чем страх наказания. Сила этих желаний, безошибочность их расчетов, проницательность и ум этих злодеев могут, более вероятно, показаться некоторым скорее привлекательными, чем отвратительными. Чтение жизнеописания Наполеона никогда не вызывало отвращения к власти в амбициозных молодых людях, даже несмотря на трагичный финал на острове Святой Елены.

Жироду прекрасно сознавал, что «привлекательность, интрига и скандальность книги» заключены именно во взаимоотношениях Вальмона и маркизы де Мертей – пары «повенчанных» Злодейством самых соблазнительных развратников литературы: он – самый красивый и ловкий мужчина, она – очаровательнейшая и умнейшая женщина. «Мы видим великолепное представление, где равносильные в умении повелевать страстями мужчина и женщина вышли на охоту в

поисках наслаждений». Это по всем статьям идеальная пара: в их отношениях царят абсолютное доверие друг к другу и откровенность, какой не удостоен ими более ни один человек в мире. Нет занимательнее историй о животных, чем истории о двух охотниках – лисице и льве. Нет ничего более угодного духу Зла, чем вид восхитительной Мертей и прекрасного Вальмона, угождающих друг другу, поскольку личная победа для обоих имеет меньшее значение, чем доверие, а наибольшее удовольствие приносит победа другого.

Бодлер оправдывает Лакло еще более изящно. Он не согласен с тем, что Лакло аморальнее современных нам авторов: Лакло всего лишь более откровенен. «Разве в XIX веке общество стало более возвышенным? – задается вопросом Бодлер и тут же отвечает: – Нет, просто сила зла ослабла и глупость сменила силу духа».

По мнению Бодлера, ввязываться в опасные авантюры ради того, что принято считать пустяком, ничуть не хуже, чем путать сексуальное влечение и любовный восторг. Лакло для него более искренний, чем Жорж Санд или Мюссе: «Безумствовали ничуть не меньше, чем сегодня. Но безумствовали не так по-дурачки, не обманываясь <...> На самом деле сатанизм победил, а сатана стал простодушен. Зло, сознающее себя, менее страшно и ближе к исцелению, чем зло, себя не ведающее».

Правда и в том, что истинный моралист живописует картины безнравственности мира потому, что собственная роль

его – предостереечь нас от мира, каков он есть. Если бы человек по своей натуре был существом высокоморальным, то моралисты были бы не нужны. Но природа вне морали или даже аморальна. Инстинкты толкают живых существ к борьбе за выживание, к охоте, спариванию. И существует общество, которому навязано уважение к нравственности. Но поскольку общество лицемерно, то даже самый отважный моралист бывает вынужден отступить, ибо он желает сообщать правду, а правда о подлинной природе человека страшит. Только когда этот моралист не выходит за рамки абстрактных суждений и максим и не срывает маски со своих героев – мы можем привести много подобных примеров, – его суровость кажется менее резкой. Однако представьте себе Ларошфуко и романы, которые могли бы вырасти из его максим. Вы нашли бы их сюжетные перипетии не менее чудовищными, чем события «Опасных связей».

Еще одна весьма веская причина способствовала признанию книги Лакло безнравственной. Дело в том, что Лакло наносит сильнейший удар легенде о женской стойкости. Позже Бернард Шоу вновь вернется к мысли о том, что в любви часто именно женщина становится охотником, а мужчина – добычей. Госпожа де Мертей руководит Вальмоном, надиктовывая ему самые важные письма, – и насмехается над ним, если он пытается оказать ей подобную услугу. «Здесь, как и в жизни, – пишет Бодлер, – пальма первенства принадлежит женщине». Вальмон, возможно, и пощадил бы президентшу,

если бы письмо госпожи де Мертей не подстегнуло перешагнуть это препятствие. Однако женщины вроде маркизы де Мертей, ставящие себя выше мужчин, не любят, чтобы об этом знал кто-либо, кроме пары близких сообщников. Чувствуя себя в безопасности под маской сентиментальности и напускной невинности, они всегда осуждают романы и романистов, которые их обличают. Дюма-сын испытал это на личном опыте.

В этом Лакло всю свою жизнь был непреклонен. Когда ему говорили: «Вы создаете чудовищ, чтобы с ними сражаться, не бывает женщин, подобных маркизе де Мертей!», он отвечал: «Тогда почему же все настолько встревожены? Когда Дон Кихот взялся за оружие, дабы сразиться с ветряными мельницами, решился ли кто-нибудь его отговорить? Его жалели, но не осуждали... Если ни одна из женщин не предавалась разврату, притворяясь при этом влюбленной... если ни одна не помогала в соблазнении подруги... если не найдется такой, что желала бы наказать своего любовника за измену... если все это неправда, то я напрасно писал об этом! Но кто осмелился бы отрицать эту повседневную реальность? Еретик и вероотступник!»

Так спросим же еще раз: действительно ли «Опасные связи» – роман нравственный, как утверждал его автор? Я полагаю, что он учит морали, но не благодаря устрашающим картинам череды несчастий, обрушивающихся рано или поздно на головы нечестивцев, а скорее убеждением в суетно-

сти их удовольствий. Эти персонажи созданы безжалостным геометром, они поступают согласно своим убеждениям и голосу холодного рассудка. Применять логику там, где следует слушать интуицию; изображать страсть, не испытывая ее; хладнокровное изучение слабостей других с целью управлять ими – вот игра, которую ведут Мертей и Вальмон.

Может ли она принести счастье? Роман Лакло явственно показывает – нет. Не то чтобы удовольствие не таит в себе подлинной, восхитительной реальности. Но сама госпожа де Мертей в конце концов признает, что физические удовольствия однообразны, скучны, если они не подкреплены движением сильных чувств: «Неужели вы еще не уразумели, что наслаждения, действительно являющегося единственным толчком для соединения двух полов, все же недостаточно для того, чтобы между ними возникала связь, и что если ему предшествует сближающее их желание, то после него наступает отталкивающее их друг от друга пресыщение?»

Ответ на этот вопрос заключается в том, что удачен лишь момент, когда желание облагорожено чувствами, а союз скреплен социальной связью – браком. Человечество всегда обладало замечательной интуицией, как выбрать время, когда клятва, связующая нас, становится приемлемой, поскольку ведет к удовлетворению желания. Дон Жуан, или Вальмон, провозглашает: «К черту цепи! Только водоворот наслаждений и угождение желаниям – в этом прелесть жизни».

ни!» Однако «Опасные связи» ясно показывают, что этот образ жизни не приносит счастья и донжуанов порождает не желание, но фантазии и гордыня.

Следует отметить для полноты картины, что читательницы «Опасных связей» обеспечили книге успех, по меньшей мере равный популярности «Новой Элоизы», где уж точно присутствует идея торжества добродетели. Цинизму героев Лакло не повредило высокопарное благородство сочинения Руссо. Нужно было пережить Революцию и становление Империи, чтобы понять: холодная безжалостность Лакло и пылкость Руссо, спавленные в горниле нового гения, и привели к созданию романов «Красное и черное» и «Пармская обитель».

Гёте. Решающий поворот в его жизни, или Судьба, две женщины и одна карета¹¹²

Франкфурт. 1775 год. Молодой Вольфганг Гёте, двадцатилетний сын императорского советника Иоганна Каспара Гёте, персоны в городе весьма влиятельной, возвращается в родные края. Он гениален и знает об этом. С детских лет верил в свою судьбу. «Звезды обо мне не забудут», – говорил Гёте в шесть лет. А еще он всегда знал, что рожден властвовать и наблюдать. «Гений природы за руку проведет тебя по всем странам, покажет тебе жизнь – всю как есть, эту диковинную суету людей, ты увидишь, как они блуждают, ищут, ошибаются, как они дают, уклоняются, вцепляются, толкаются, трутся, увидишь дикую возню людских толп. Но для тебя все это будет, словно картины в волшебном фонаре».

«Словно картины в волшебном фонаре...» Что это значит? Что его демон (ибо Гёте, подобно Сократу, верил, что в нем живет и им управляет некий демон) велит ему никогда не погружаться в дела людские всем своим существом. Лишь тому, кто сохраняет свободу духа, дано стать поэтом, создавать миры. Однако достигнуть такой отрешенности –

¹¹² Перевод И. Васюченко.

нелегкая задача для молодого человека двадцати шести лет от роду. Гёте красив, он нравится женщинам, и они нужны ему. «Вечная Женственность влечет нас». Без любви Гёте не может творить. К тому же он необуздан, безрассудство страстей делает его добычей, особенно заманчивой для Сатаны.

В восемнадцать лет сей Фауст повстречал своего Мефистофеля – студента Бериша¹¹³ из Лейпцига. «Право же, – пишет юный Гёте этому inferнальному субъекту, – думаю, теперь мне по плечу соблазнить девицу. Одним словом, сударь, я способен на все, чего вы вправе ожидать от самого усердного и прилежного из ваших учеников...» И тотчас наш Фауст нашел своих Гретхен, он не одно сердце разбил. В Эльзасе его пленила очаровательная Фредерика Брион¹¹⁴. Тем не менее он оставил ее без малейших угрызений. «Провидению угодно, чтобы деревья не поднимались до небесного свода», – преспокойно заявляет он. Иначе говоря, приходит момент, когда страсть должна остановиться в своем росте. Или еще точнее: демон Гёте не велит ему отклоняться от своего пути.

Тем не менее однажды ему показалось, что несчастная любовь привела его на порог гибели. Его сразил брак Шарлот-

¹¹³ *Бериш Эрнст Вольфганг* (1738–1809) – друг Гёте, адресат его стихотворений («Три оды моему другу Беришу», 1767).

¹¹⁴ *Брион Фредерика* (1752–1813) – дочь эльзасского священника, возлюбленная молодого Гёте.

ты Буфф, которую он обожал, с его же другом Кестнером¹¹⁵. Он думал о самоубийстве. Несколько вечеров, ложась спать, клал с собой рядом кинжал. Однако не смог нанести себе никакой, даже самой легкой раны. Было ли это предательством тела, победившего волю? Нет, пересилила именно воля к жизни. Вместо того чтобы покончить с собой, он написал историю своей любви и своего самоубийства. Закончив «Вертера», он освободился от чар Шарлотты. «После великих страданий я снова обрел себя самого, – говорит он. – И в каком качестве? Я обрел себя как художника». Вот он, волшебный фонарь. Лишь такой мучительный опыт побудил его бросить вызов богам. В этом молодом человеке было что-то от Прометея.

Эти годы для Германии – эпоха «Бури и натиска», литературного течения, которое, будучи уже сродни романтизму, ему предшествовало. Его адепты хотели живописать гигантов в их борьбе с обществом. Гёте как приверженцу этого течения предстоит прославить его своими шедеврами. Он восстает против «разума», этого кумира французского XVIII века. Он превозносит могучие темные силы духа. Он равняет себя с титанами. Он проклинает Зевса. Его Прометей из одноименного стихотворения бросает в лицо громовержцу: «Гляди! Я создаю людей, // Леплю их // По своему подобию, //

¹¹⁵ *Буфф Шарлотта София Генриетта* (1753–1828) – прототип Лотты в романе «Страдания молодого Вертера» (1744); в 1773 г. вышла замуж за юриста Иоганна Кестнера (1741–1800).

Чтобы они, как я, умели // Страдать, и плакать, // И радоваться, наслаждаясь жизнью, // И презирать ничтожество твое, // Подобно мне!»¹¹⁶ Столь неукротимый бунт ужаснул некоторых из его друзей, они говорили, что он одержим демоном гордыни.

Верно: бунтовать против богов – занятие рискованное, опасность здесь в том, что оно ни к чему не ведет. Мир таков, каков он есть, и боги есть боги. Сильному человеку пристало не проклинать мир, а преображать его. Гёте на своем двадцать шестом году предстает перед нами красивым, гениальным, неповторимым, но можно опасаться, что он разобьется, натолкнувшись на уготованные ему препятствия. Лафатер¹¹⁷, любя его, дивится такому яростному неистовству, тревожится: «Гёте весь – сила, страсть, воображение. Он действует, сам не ведая, ни как, ни зачем, можно подумать, что его уносит поток». Да вот и сам Гёте про то же: «Не являюсь ли я бесчеловечным существом, стремящимся к пропасти без цели и удержу, подобно водопаду, что с ревом низвергается, прыгая со скалы на скалу?»

Но демон Вольфганга не дремлет, своими таинственными путями он подводит бесчеловечного к решающему повороту, что призван обратить его к человечности. Для этого ему потребуются девушка, князь, карета и знатная дама. Рок вы-

¹¹⁶ Перевод В. В. Левика.

¹¹⁷ *Лафатер Иоганн Каспар* (1741–1802) – швейцарский писатель, богослов и поэт, автор теории физиогномики.

бирает любые, самые непредвиденные орудия.

Анна Элизабет Шёнеман¹¹⁸ – так звали девушку. Она была дочерью крупного франкфуртского банкира, умершего за несколько лет до того дня, когда Гёте впервые увидел Элизабет, которую обычно звали просто Лили. Дело было в январе 1775-го. Благодаря своим стихам и «Вертеру» он уже успел стать знаменитостью, его всячески пытались заманивать во франкфуртские салоны. Юный титан противился, не хотел допустить, чтобы его приручили. Но чем старательнее он разыгрывал роль дикаря, такого медведя, тем больше интереса возбуждал в свете. Когда однажды вечером друг внезапно предложил сводить его на концерт в дом одного банкира-кальвиниста, он согласился. Ему нравились неожиданности. Решение, принятое с бухты-барахты, – это ведь похоже на билет в житейской лотерее.

Его ввели в большую гостиную, в центре которой стоял клавесин. На нем играла единственная дочь хозяина дома, очаровательная кокетливая блондинка семнадцати лет. Ее музицирование пленяло беспечным изяществом. Расположившись напротив, Гёте любовался отчасти детской, на редкость естественной прелестью Лили. Когда он похвалил ее, она ответила так мило, что лучше и быть не могло. Он заметил, что она смотрит на него с удовольствием, словно на увлекательное зрелище. Это его не удивило, ведь он знал, что

¹¹⁸ Шёнеман Анна Элизабет (Лили; 1758–1817) – невеста Гёте в 1775 г.

хорош собой и знаменит. Но Гёте и сам был восхищен тем, что видел. Он чувствует, что зарождается обоюдное влечение. Вокруг толпилась публика, поговорить было невозможно, однако, когда Гёте уходил, мать и дочь пригласили его навещать их.

Он стал часто пользоваться этим приглашением. Часы, что он проводил рядом с Лили, были самыми чарующими. Их беседы тотчас стали интимно-доверительными. Она рассказывала ему о своих отроческих годах богатой девицы, которой доступны все радости мира. Не таила от него и своих слабостей, первейшей из которых было кокетство, жажда пускать в ход свой дар покорять сердца. «Я и на вас его пробовала, – признается она, – но я за это наказана, потому что теперь сама тоже к вам привязалась». Вскоре он уже не мог обходиться без нее, что резко изменило его жизнь, ведь эта наследница громадного состояния вела почти непрерывную светскую жизнь. Ему, одиночке, приходилось идти на компромиссы, чтобы неотступно оставаться подле нее.

Как всегда, взирая на происходящее несколько свысока и слегка посмеиваясь над собой, Гёте в послании от 13 февраля 1775 года так пишет об этом своей приятельнице Августе фон Штольберг-Штольберг¹¹⁹: «Вообразите, моя бесценная, Гёте в вышитом одеянии, в банальном свете люстр и канделябров, медлящего возле игорного стола, где его удержива-

¹¹⁹ Штольберг-Штольбергская Луиза Августа Генриетта, графиня (1799–1875) – поэтесса, переводчица и издательница.

ет пара прелестных глаз, покидающего прием ради концерта, позволяющего наконец увлечь себя на бал, волочась без устали за хорошенькой блондинкой, и тогда перед вами предстанет образ ряженого Гёте, того самого, что еще недавно делился с вами некими глубокими и туманными чувствами». Затем он добавляет: «Но есть и другой Гёте, в серой бобровой шубе с коричневым шелковым шарфом. Дыша холодным воздухом февраля, он уже торопит весну и видит, как его дорогая бескрайняя вселенная распахивается перед ним снова...» В этой Гёте-симфонии разыгрывается спор двух мотивов – влюбленного, впервые угодившего в сети светского общества, и творца, алчущего независимости, поскольку ему нужны вся вселенная и весь род людской. «Любовь, любовь, верни свободу мне!...»

Вот в чем драма. Существуют два Гёте: тот, что несет в себе целый мир, и тот, что проводит последнюю ночь карнавала, танцую, вдали от природы, вдали от трудов, вдали от самого себя. Безусловно, это мучительное раздвоение ему уже знакомо по опыту других любовных романов, но прежде он побеждал его либо ценой бегства от любимой женщины, либо овладев ею. На сей раз овладеть можно не иначе как посредством брака. Шёнеманы – семейство влиятельное и почтенное, Лили не Гретхен, которую можно просто соблазнить. Остается бегство. Но он счастлив подле своей возлюбленной даже в этом расфуфыренном светском кругу, влияние которого ему претит. Он с наслаждением любит, с ка-

кой грацией, как не по летам уверенно она держится. Позже, в марте, снова встретив ее за городом, он испытывает ничем не омраченную радость – ведь теперь Лили больше ни с кем не нужно делить, часы их общения «полны и золотисты».

«Любовь, любовь, верни свободу мне!..» В те дни Гёте, похоже, готов утратить эту свободу. Правда, такие брачные планы не встречают особого восторга со стороны обоих семейств. Гёте – буржуа-лютеране, Шёнеманы – знатные кальвинисты. Корнелия¹²⁰, сестра Гёте, как многие сестры гениев берущая на себя слишком много, ревниво хлопочет, спасая брата от него самого, отговаривает от этой затеи, да и от любых уз супружества. Но в дело вмешивается другое влияние, оно ускоряет события. В апреле Франкфурт посещает некая особа из Гейдельберга, фройляйн Дельф, обожающая устраивать свадьбы. Девица Дельф! Имя, как нельзя более подходящее, чтобы произвести впечатление на Гёте, имеющего слабость к сивиллам и оракулам!

Сивилла, общаясь с обеими семьями, вырвала у них согласие. Весьма решительная в своих повадках, эта Дельф умела закруглять ситуацию, приводя к желаемому итогу. Лично для себя она не искала никакой выгоды, для нее было счастьем поженить кого-нибудь. Это позволяло ей ощущать себя всемогущей. Лили она знала с детства и нежно любила. Дельф пригляделась к молодым людям, поняла, что они друг друга любят, но тянут с решением. Однажды, когда они

¹²⁰ Шлоссер Корнелия Фридерика Кристиана (1750–1777) – сестра Гёте.

пребывали наедине, она внезапно явилась к ним и возвестила, что добилаcь согласия их семейств. «Дайте друг другу руки!» – распорядилась она. Гёте, стоявший в этот момент перед Лили, протянул руку. Без колебаний, однако плавным, медленным движением Лили вложила свою ладонь в его. Потом, переведа дух, они бросились друг другу на шею. По воле фройляйн Дельф они стали женихом и невестой официально. Выходит, Сивилла взяла верх над демоном? Неподражаемый Гёте истолковал это иначе: «То было странное решение верховного существа, пожелавшего, чтобы в своей беспокойной жизни я на своем опыте познал помимо прочего чувства, которые испытывает жених». Иначе говоря, Провидение, желая создать образцового писателя, пеклось о том, чтобы обеспечить ему кое-какой опыт во всех областях бытия.

Это жениховское состояние, новое для него, показалось Гёте более чем приятным. Все враз изменилось. Преграды были устранены. Естественные порывы и благоразумие более не противоречили друг другу. Отныне он видел свою возлюбленную в новом свете. По-прежнему находя ее прекрасной, грациозной, при мысли о том, что она станет его женой, он радовался теперь и ее достоинству, уравновешенности ее характера. Короче, все сулило бы спокойное счастье и усладу, если бы его внутренний голос перестал ворчать. Но нет, гётевский демон слишком хорошо видел, какая участь ждет прирученного медведя. Он будет вести себя хорошо, если его

хозяйка прикажет, будет урчать от удовольствия, когда она погладит его ножкой по спине. Он обоснуется во Франкфурте по-семейному, поселится в премиленьком «дворце». Станет верным супругом, превосходным отцом. Но Гёте, Гёте! Где тогда место Гёте?

А я?.. О боги, коль в вашей власти
Разрушить чары этой страсти,
То буду век у вас в долгу...¹²¹

В мае он предпринял попытку побега. Отправился в Швейцарию в компании троих друзей. Было интересно и весело. Четверо красивых парней купались нагишом во всех встречаемых речках. Гёте виделся с Лафатером, катался по озерам на лодке, хмелел от близости природы. Друзья пытались затащить его аж в Италию, но внутренний голос и тут был начеку. Время, когда Италия станет необходима Гёте, еще не пришло. Он чувствовал, как при каждом шаге на его груди пляшет маленькое золотое сердечко, подарок Лили, и сочинил для нее эти прославленные строки:

Если бы я не грезил тобой, Лили,
Как меня пленил бы горный путь!
Но когда бы я не грезил Лили,
Было бы счастье в чем-нибудь?

¹²¹ Перевод Л. В. Гинзбурга.

Отсюда видно, что медведь еще не порвал свой шелковый поводок. Итак, Гёте снова держит путь на север и к исходу июля возвращается во Франкфурт. По видимости, жених и невеста влюблены друг в друга, как встарь. Будущая родня во время отсутствия Гёте всячески пыталась посеять между ними раскол, но Лили ему по-прежнему верна. Она говорит, что если этого вольного поэта пугает светская жизнь Франкфурта, то она готова уехать с ним в Америку. Он этого хочет? Но все же столь долгое отсутствие нареченного, притом добровольное, ее задело и опечалило, да иначе и быть не могло.

Что до Гёте, он в дни своего путешествия сравнивал себя с птицей, которая, ускользнув из клетки и вернувшись в лес, еще тащит за собой маленький обрывок веревки, как «позор унижительной неволи». Он «уж больше не прежняя птица, рожденная свободной». И вот теперь он возвратился в свою золоченую клетку, но чувствует себя в ней чем дальше, тем нестерпимее. И пишет своей далекой наперснице Августе фон Штольберг-Штольберг: «О, если бы я мог высказать все! Но здесь, в этой комнате, где живет дитя с ангельским сердцем, без всякой своей вины делающее меня несчастным... И вот я обречен на ребяческую простоту, загнан в тесные пределы, словно попугай на жердочке...» Когда рядом нет Лили, он флиртует с другой, чтобы доказать самому себе, что остается независимым, но эти шалости не приносят ему ни капли удовольствия: «Все это время я метался, будто крыса, что наелась отравы: она тычется во все дыры, пьет любую жид-

кость, какая ни подвернется, а ее внутренности жжет смертельный неугасимый огонь...»

Мужчина, пишущий подобные вещи, в сердце своем уже разорвал любовные узы. Однако он питает благие намерения, твердит себе, что это невозможно. Как нанести ангелу такой мучительный удар? Но в той глубине души, куда нет доступа сознанию, он ведает, что все кончено. И не выдерживает: 20 сентября, в среду, он говорит Лили «семь слов»: свершается разрыв. Отныне если он еще и увидит ее, то никогда больше с нею не заговорит. И рвет он не только с ней, но и с Франкфуртом-на-Майне. Судьба, продолжающая бдительно опекать Гёте, дарит ему дивный шанс начать жизнь заново, причем энергичнее, с большим размахом: она сталкивает его с молодым князем, правителем саксонского Веймара¹²². Правитель – юноша восемнадцати лет, только что унаследовавший после смерти отца маленькое независимое княжество, где у него имеются замок, подданные, двор, кафедральный собор и Йенский университет. Он претендует на передовой образ мысли, у него есть реформаторские замыслы. Встреча с Гёте воодушевляет его.

При первом же разговоре у них заходит речь о политике. Гёте, размышлявший об этих материях, энергично изложил собеседнику свои идеи насчет правления. Князь Карл Август пришел в восторг, обнаружив у писателя столь яв-

¹²² *Карл Август* (1757–1828) – герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский, покровитель и друг Гёте.

ную предрасположенность к деятельной жизни и редкое знание действительности. «Какой министр выйдет из этого поэта!» – подумал он. А когда он заметил, что Гёте приятный компаньон в развлечениях и бесподобно умеет разгадывать секреты человеческих чувств, он сказал себе, что ему не найти ментора, более достойного и способного руководить неопытным юным правителем в житейских перипетиях. И ведь какая прелесть – вместо подобоострастных старых придворных иметь подле себя молодого, красивого, блестящего умом спутника! Короче, Карл Август пригласил Гёте посетить Веймар в качестве его личного гостя. Вопрос о том, чтобы предложить ему какой-либо официальный пост, пока не вставал. Под каким видом Гёте явится ко двору? На какой срок? Все в тумане, да так оно и лучше. Не надо пугать птицу, когда, открывая перед ней дверцу клетки, заманиваешь ее в другой вольер, тот, что напротив.

Итак, он дал согласие всего-навсего на то, чтобы сесть в карету, которую князь в условленный день пришлет за ним во Франкфурт. Какие могут быть препятствия? Лили больше не помешает. Принесена в жертву. Ее роль сыграна. Художник, овладевающий искусством жить, знает, для чего Судьбе было нужно, чтобы на его пути встала Лили. В час, когда Гёте рисковал растратить силы на бесплодное бунтарство, надлежало вернуть его обществу и после Вертеровых мучений вновь преисполнить верой в свою способность внушать любовь. Бурный водопад его страстей грозил все разнести в

прах. Бунтующий титан рисковал навлечь на себя молнию богов. Лили Шёнеман исцелила Гёте от его буйных порывов. Однако противоположная крайность была бы не менее опасна. Для того чтобы Гёте стал олимпийцем, ему надо одновременно быть свободным и осознавать необходимость некоторого самообуздания. Его гений позаботился о том, чтобы обеспечить такое равновесие. Эпизод с Лили был полезен, но польза его ныне исчерпана. С амурами покончено, вперед!

Но было другое препятствие. Его отец, имперский советник, предостерегал: не стоило полагаться на дружбу правителя. Эти люди легкомысленны и переменчивы. Побудешь их фаворитом несколько месяцев, а потом они избавятся от вчерашнего друга так же скоропалительно, как увлеклись. Но Гёте чувствовал искреннюю симпатию юного князя, он был уверен, что сможет удержать его. Однако пришел назначенный день, а княжеской кареты нет как нет. И никаких известий. Что произошло? Теперь Гёте был в растерянности. Он успел всему Франкфурту сообщить, что отправляется в Тюрингию. Чтобы не потерять лица, он заперся у себя дома, велел всем говорить, что уехал, и сел за работу над драмой «Эгмонт». Кареты по-прежнему не было. Неужели его верный демон на сей раз обманул Гёте? Устав от насмешек отца, он бежал в Гейдельберг. И там ждал. Верил: карета Судьбы появится в час, предначертанный звездами.

И действительно: в один прекрасный день в Гейдельберге посреди спора с фройляйн Дельф, Сивиллой-свахой, Гё-

те услышал у дверей почтовый рожок. На улице стояла княжеская карета. Посланец объяснил причину опоздания: произошла авария, но его господин ждет Гёте. Последний не замедлил покинуть Сивиллу, бросив ей на прощание фразу, только что сочиненную им для второго акта «Эгмонта»: «Словно бичуемые незримыми духами времени, мчат солнечные кони легкую колесницу Судьбы, и нам остается лишь твердо и мужественно управлять ими, сворачивая то вправо, то влево, чтобы не дать колесам там натолкнуться на камень, здесь сорваться в пропасть»¹²³.

В этой стремительной скачке на пути к Веймару поворот был пройден. Гёте вырвался из франкфуртского семейного и светского круга. В новом кругу, где вскоре он уже будет царить, его гений сможет расцвести еще ярче. Карета сыграла роль, предназначенную Судьбой. Но чтобы завершить создание нашего Гёте, богам потребуются еще один князь и одна женщина.

Карл Август был на восемь лет моложе Гёте. Этим двоим предстояло провести вместе пятьдесят лет. Князь имел золотое сердце, он желал добра своим подданным и стремился совершать великие дела, причем во всех областях. Универсальность Гёте пленяла его. Перед ним был человек, способный сочинять экспромтом великолепные стихи, принимать участие в любых затеях, требующих физической тре-

¹²³ Перевод Н. Ман.

нированности, разбираться в проблемах управления и научных вопросах, в искусстве... короче, во всем. Если слово «гений» могло когда-либо обрести полноценный смысл, то именно в применении к Гёте. Влияние поэта на молодого князя было огромно. Он формировал его личность, заставлял размышлять, учил его использовать абсолютную власть, для того чтобы превратить Веймар в столицу духовной культуры, не пренебрегая при этом и материальным благосостоянием малоимущих.

Эта школа практической деятельности была не менее существенной и для самого Гёте. Князь не замедлил сделать его своим личным советником и обременить множеством разнообразных миссий. Позже поэт становится министром и вторым человеком в государстве. Разумеется, это вызывает у княжеского окружения сильнейшую зависть. Старые придворные бранят новшества, вводимые Гёте. Но тот, властвуя над душой и разумом правителя, держит ситуацию под контролем. «Вполне возможно, – писал он Иоганне Фалмер 14 февраля 1776 года, – что я останусь здесь. Буду играть свою роль как можно лучше до тех пор, пока это сможет доставлять мне удовольствие, настолько долго, как будет угодно Судьбе». Оставшись, он рос, становился все могущественнее и мудрее. Для духа нет ничего более оздоровительного, чем столкновение с фактами, с их упорным сопротивлением. Погрузиться в ученые труды Гёте заставили его обязанности. Занимался рудниками – следовательно, изучал мине-

ралы. Занимался лесами, разведением скота – пришлось и в это вникнуть. Он переходил от дорожного строительства к проблемам музыкального театра, от управления армией – к налоговой реформе. Так он расширял основание пирамиды, которой была его жизнь, и это позволяло ей расти в высоту. В Веймаре он накапливал материал для второй части «Фауста»: «В начале было действие».

Но одного лишь действия недостаточно, чтобы завершить шедевр человеческой природы. Деятельность, предоставленная себе самой, имеет тенденцию захватывать все жизненное пространство, она гнетет дух, пригибает к земле. Чтобы заново воскресить его, в случае Гёте потребовалось вмешательство Вечной Женственности. Мужчина активен, женщина эмоциональна. В Веймаре спасительницей Гёте стала Шарлотта фон Штейн¹²⁴. Без нее поворот судьбы не обрел бы законченности. Баронесса фон Штейн была аристократкой, дочерью бывшего маршала двора и женой шталмейстера. Выйдя замуж без любви, она произвела на свет восьмерых детей. Беременности у нее протекали тяжело, роды были трудными, они ее изнурили. «Эта работа мне мучительно дается, – писала она подруге. – Зачем природе понадобилось обрекать половину рода людского на столь тягостные труды?» Она была кроткой, разумной, благородной, тактич-

¹²⁴ *Штейн Шарлотта Альбертина Эрнестина фон* (1742–1827) – придворная дама герцогини Анны-Амалии Саксен-Веймар-Эйзенахской, подруга Гёте, Гедера и Шиллера.

ной. Гёте тотчас потянулся к ней, но пылкие домогательства этого человека, такого красивого, внушающего такое восхищение, напугали ее, его признания были, «словно огненный поток». Гордясь, что восторг великого человека обращен к ней, одной из всех, она тем не менее твердо решила в первые годы эту любовь «сублимировать». В высшей степени благочестивая, она до той поры наслаждалась «безоблачным согласием с предначертаниями Господними». И теперь пыталась его не нарушить.

Итак, этот нежный гений женственности, «мирный и умиротворяющий», самому Гёте внушил (поначалу) свою чистоту. Она выслушивала излияния, даже начала принимать его в своем замке в Кохберге, однако условием их общения поставила «дисциплину сердца, чувств, манер, которая вменялась ему с такой твердостью и так благочестиво соблюдалась, что для Гёте это стало настоящей метаморфозой». Подобно тому как бешеный горный поток, низвергаясь со скал в тихое озеро, смешивается с его водами и перестает бурлить, принимая вид окружающей зеркальной глади, Гёте, смешивая свои кипучие помыслы с кроткими думами Миротворицы (как он именовал баронессу), сам приобщался к ее спокойному достоинству, к этой лунной безмятежности. Самообладание – вот что в глазах Шарлотты являлось высочайшим человеческим качеством. Этому она научила Гёте. Отныне благодаря ей он достигнет высот олимпийской мудрости, в которой величия еще больше, чем в ярости титана.

Гёте в Веймаре – едва ли не уникальный пример поэтического гения, держащего в своих руках рычаги управления государством. Это для него пора свершений и торжества воли. «Мои повседневные задачи требуют от меня постоянно-го присутствия, это долг, которым я день ото дня дорожу все больше, именно исполняя его, я желаю сравняться с величайшими из людей, сравняться только в этом... К тому же мне служит талисманом возвышенная любовь госпожи фон Штейн, флюиды, исходящие от нее, защищают меня...» Итак, поворот завершился. Гёте стал самим собой.

Но впереди его ждал еще один маленький поворот, это произойдет в сентябре 1786 года, когда он покинет Веймар, чтобы отправиться в Италию. Ведь крутой вираж, даже если его предпринимает великий мастер в искусстве жизни, всегда сопряжен с риском: карету его Судьбы могло занести слишком далеко, даром что управлял ею гений. Ему требовался легкий толчок, чтобы выправить крен. Веймар сверх меры уводил художника в сторону практической деятельности, Шарлотта слишком настойчиво убеждала его жертвовать плотью во имя духа. Гёте с его германским мистицизмом потянуло за границу, он жаждал уроков страны, где царит полуденный зной. Там, «где цветут апельсины», он эту школу прошел и два года спустя вернулся в Веймар, став сильнее и гибче. Но от Италии ему был нужен только толчок, больше он туда не возвращался, если не считать единственного раза, когда в марте 1790 года пришлось съездить в Ве-

нецию, чтобы дождаться там вдовствующую княгиню Анну-Амалию¹²⁵, которую он должен был сопровождать на пути в Веймар. Однако главным поворотом его жизни, свершившимся по мановению божественного перста, были разрыв с Лили Шёнеман, приглашение в 1775 году в Веймар и встреча с баронессой фон Штейн. Для того чтобы обеспечить становление одного из величайших умов человечества, Судьба использовала двух женщин, одного князя и одну карету.

¹²⁵ Анна-Амалия Брауншвейг-Вольфенбюттельская, герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская (1739–1807) – мать герцога Карла Августа, покровительница наук и искусств.

Джакомо Леопарди¹²⁶

*Отчаянная песнь едва ль не всех прекрасней,
Есть песни дивные, похожие на плач¹²⁷.*

Мюссе

Поль Валери, который Мюссе не жаловал, оценивал эти строки весьма нелицеприятно. «Рыдание, – заметил он, – отнюдь не песнь, это даже нечто обратное». Он был прав: всякая песнь – это прежде всего лад. Но когда за ее упорядоченной чистотой угадывается далекое эхо жалобы, которая задала ей тон, это значит, что поэт достиг вершины. Вордсворт определял поэзию как чувство, оживающее в спокойном воспоминании. У ее истока должно быть сильное, пронзительное мгновение, потом требуется время для вынашивания поэтического образа, и наконец воспоминание обретает форму. Подобный мотив мы находим в прустовском «Обретенном времени», и таков же секрет творчества Джакомо Леопарди. Поэт много страдал, свои муки он претворил в несколько кратких лирических стихотворений, столь совершенных, что они вошли в число высочайших шедевров мировой литературы. Будучи романтиком и по природе, и по велению эпохи, Леопарди вскормлен античной культурой.

¹²⁶ Перевод И. Васюченко.

¹²⁷ Перевод С. А. Андреевского.

Новизну мысли он облакал в старинную стихотворную форму, возвращая современности строгое изящество греческих поэтов. В этом смысле он напоминает Шелли. Я не собираюсь знакомить читателя с его творениями, их надо читать по-итальянски, никакой перевод не передает кристальной чистоты этой поэзии, нет, я хочу напомнить о том, какую диковинную жизнь он прожил. Его историю часто пересказывали по-французски, самым первым это сделал Сент-Бёв («Портреты»), но благодаря многочисленным публикациям – газетам, письмам, биографическим сочинениям – за последние три десятилетия стали достоянием гласности многие доселе неизвестные тексты и факты. Я в своем рассказе опираюсь на последнее издание книги Айрис Ориго¹²⁸ «Леопарди», которая содержит много информации, почерпнутой из недавних итальянских исследований, и рассказывает эту прекрасную и печальную историю с простотой, достойной героического эпоса.

I

«Я происхожу из благородной семьи, но родился в итальянском городе, лишенном благородства». Фраза кажется несправедливой по отношению к Реканати, маленькому городку в регионе Марке, расположенному на отрогах Апен-

¹²⁸ *Ориго Айрис Маргарет*, леди (1902–1988) – англо-ирландский биограф и писательница.

нин, подступающих к Адриатическому морю, притом ничуть не уступающему в благородстве доброй сотне других. Голубое небо, холмы, увенчанные виноградниками и оливковыми рощами, море и высокие горы создают ему безупречно красивую рамку. Узкие мрачноватые улочки тянутся между дворцами, где в годы детства Леопарди обитали десятка четыре знатных семейств. «Все имели экипаж, устраивали приемы по несколько раз в год, наряжали слуг в ливреи, а для воспитания детей держали одного или нескольких священников». Они наблюдали друг за другом, зорко, завистливо следили. Простонародье города терпело их, ненавидя и насмехаясь.

Род Леопарди начиная с XIII века занимал высокое положение, исправно плодя воинов, судей, епископов, мальтийских рыцарей и монахинь, но все без особого блеска. Семейный замок их был довольно внушителен. Винтовые лестницы, балконы с коваными решетками, галерея поясных портретов, обширная библиотека, где книжные шкафы хранили память многих поколений знатного и не лишенного культуры семейства. Граф Мональдо Леопарди¹²⁹, отец поэта, заявлял, что горд своим рангом, своим дворцом и своим городом. Он предпочитал быть одним из первых лиц в Реканати, нежели оказаться одним из последних в Риме. Так или иначе, он чтит власть Ватикана и считал святотатством

¹²⁹ *Леопарди Мональдо*, граф (1776–1847) – политический философ-консерватор, отец Джакомо Леопарди.

вторжение французских войск на территорию Папской области¹³⁰. Многими чертами он напоминал маркиза дель Донго, изображенного Стендалем в «Пармской обители». Примером такого сходства может служить его отказ взглянуть в окно, когда по городу проезжал Бонапарт. «Слишком много чести для этого ничтожества», – сказал он. В пятилетнем возрасте лишившись отца, Мональдо рос под началом матери, которая в деле воспитания проявляла непреклонную суровость. Его наставниками были домашний капеллан дон Винченцо Ферри и иезуит дон Джузеппе Торрес. В восемнадцать лет юноша не мог выйти из дому без сопровождения одной из этих почтенных персон, настолько мало его мать, добродетельная особа, верила в нравственную стойкость.

Как отец семейства Мональдо Леопарди был добрым и неуклюжим, убежденным в собственной значимости, строгим и одновременно слабым. С утра до ночи он разгуливал в коротких кюлотах, расшитом камзоле и при шпаге. «Когда вы в парадной одежде и со шпагой на боку, – говаривал он, – невозможно пасть слишком низко, даже если бы вам того захотелось». Что свидетельствует разом и о силе одолевавших его искушений, и о твердом намерении им противостоять. Все мыслимые возможности упражняться в терпении он себе обеспечил, женившись в 1797 году на маркизе Аделаиде Античи. Мать со слезами умоляла его отказаться от этого

¹³⁰ *Папская область* – теократическое государство в центральной Италии, возглавлявшееся римскими папами; упразднено в 1870 г.

брака. «Я бесчувственно молчал в ответ на ее слезы и был за это жестоко наказан, — признается он в своей автобиографии. — Арсеналы божественного отмщения неисчерпаемы: трепещите, вы, что навлекаете его на себя! Характер моей жены так же далек от моего, как земля от неба. Каждому женатому мужчине ведомо, что это значит».

Графиня Аделаида была женщиной безупречной в наилучшем смысле этого слова. Характер у нее имелся, но это был дурной характер. Между тем граф, движимый желанием принести пользу и надеждой получить прибыль, попробовал с помощью новых земледельческих методик отвоевать у болота часть земель в окрестностях Рима, но разорился подчистую: хуже, чем если бы был игроком или гулякой. С этого момента его супруга взяла бразды правления в свои руки. Туго завязав фамильную кошину, она сумела внешне поддерживать образ жизни семьи на прежнем уровне, но отказала мужу в праве на какой бы то ни было контроль над собой и на карманные деньги. Если ему требовалась пара экую, графиня вынуждала его красть их у самого себя. Рассказывают, что однажды зимним вечером граф, потрясенный жалостью к полуголому нищему, но не располагающий ни единым су, спрятался за дверцей кареты, сбросил с себя панталоны и вручил их этому бедолаге. Однако любое вмешательство супруги мгновенно гасило такие порывы перемежающейся щедрости.

Тем не менее графиня Аделаида блюла благопристойную

видимость, так сказать, спасала фасад. Она не уволила ни одного священника, ни одного кучера или лакея. «Всю свою жизнь, — пишет ее муж, — она пеклась только о благе семьи и об угождении Богу». «Я близко знал, — напишет впоследствии ее сын Джакомо, — мать, которая не только отказывала в сострадании родителям, потерявшим малолетних детей, но и взидала на них с глубокой, искренней завистью, поскольку их чада, ускользнув от всех опасностей, вознеслись на небеса, сами же родители теперь избавлены от забот, сопряженных с их воспитанием. Когда жизнь ее собственных детей оказывалась под угрозой, а такое происходило, причем несколько раз, она не молилась о том, чтобы они умерли, ибо религия это запрещает, но на самом деле радовалась... День смерти одного из ее детей стал для нее праздником, она не понимала, как муж может впадать в уныние... Красоту она почитала истинным бедствием и благодарила Бога, видя своих детей невзрачными или больными... И никогда не упускала повода указать им на их уродство, чистосердечно и безжалостно распространяясь о том, сколько неизбежных унижений повлечет за собой такое телесное убожество... И все затем, чтобы искоренить в них грех гордыни...»

Таилась ли в глубине сердца этих «ужасных родителей», смахивающих на персонажей одноименного фильма Кокто¹³¹, хоть малая толика нежности к своим детям? Отец,

¹³¹ Имеется в виду фильм «Ужасные родители» (1948) Жана Кокто (1889–1963).

несомненно, любил их, но показывать это опасался. Что до графини Аделаиды, она если и замечала в себе ласковое движение души, то тотчас обуздывала его. От окружающих не укрылось, что порой она, внезапно разразившись слезами, спешила удалиться в свою комнату. Может быть, причиной тому подавленная эмоциональность? Эта женщина была, разумеется, сущей мучительницей для самой себя, а заодно и для других. Ключом, раскрывающим загадку ее поведения, может послужить следующая молитва, текст которой обнаружен среди ее бумаг: «Боже, ты первый отец моих детей... Будь милостив, позволь им скорее умереть, чем прогневить тебя!» Она была одержима ужасом перед возможностью греха за себя и за близких.

Старший сын этой угрюмой четы, Джакомо Леопарди, родился 29 июня 1798 года. У него было одиннадцать братьев и сестер, из которых семеро умерли маленькими. Воспитывался он вместе с братом Карло и сестрой Паолиной. Спальня их матери сообщалась с комнатой обоих мальчиков. Они никогда не выходили на улицу без присмотра. «Ее глаза были постоянно устремлены на нас, – вспоминает Карло, – это была единственная возможная для нее ласка». Когда сыновья достигли возраста, когда полагается исповедоваться, она всегда оказывалась достаточно близко от исповедальни, чтобы все слышать. Такая почти божественная «вездесущность» удручала ее детей. Они изголодались по любви. Начиная с первых попыток излить душу, они наталкивались на ледяной

стоицизм матери и робость отца, обреченного на рабское положение. Рассказни кормилицы об аде, процессии кающихся – все это доводило их до ночных кошмаров. В воображении Джакомо кишмя кишели всякого рода гадины, призраки, дьяволы. Часами лежа без сна, он слушал, как скрипят флюгера Реканати и звонят его колокола.

Строгость в отношении к нему была как нельзя более несправедлива. Разумный, нежный, кроткий, Джакомо верил всему, что говорили его родители, проявлял искреннее благочестие, величайшей радостью для него было прислуживать во время богослужения. Он мечтал стать святым. Впрочем, на самом деле святость влекла его меньше, чем слава. Он жаждал в один прекрасный день стать знаменитым, чтобы улица встречала его приветственными кликами, как Людовика Святого¹³². В ту пору он был хорошеньким маленьким мальчиком, серьезным и меланхоличным. Его тесный мирок ограничивался домом, садом и церковью. Через чердачное окошко он созерцал луну и звездное небо. Мысли о бесконечности вселяли в него смятение. Он выдумывал фантастические истории, в которых тиран Мональдо, выступая под разными именами, тщетно пытался укротить храбрых и красноречивых героев – своих сыновей. «Какие это были счастливые времена, – скажет он позже, – когда фантазии хватало на то, чтобы оживлять ее создания, когда мы

¹³² *Людовик IX Святой* (1214–1270) – король Франции в 1226–1270 гг., руководитель Крестовых походов.

были уверены, что в лесах обитают сильфиды и фавны, когда, прильнув грудью к стволу дерева, мы чувствовали, что оно трепещет в наших объятиях, почти совсем как живое...» Так протекали юные годы Джакомо. Домашние священники обучали его латыни, а беженец-аббат Борне – французскому, который он освоил с ошеломляющей легкостью. В часы досуга он устраивал сам себе театр теней и считал звезды.

Отпрыски семейства Леопарди проявляли такие способности, были так не по возрасту развиты, что начиная с 1808 года их отец стал приглашать не только родственников, но и жителей Реканати присутствовать на экзаменах, во время которых дети должны были публично дискутировать со своими учителями на всевозможные темы. «30 января 1808 года. Трое детей Леопарди – граф Джакомо девяти лет, граф Карло восьми лет и графиня Паолина семи лет – пройдут испытание, посвященное их горячо любимому двоюродному деду графу Этторе Леопарди. Оба мальчика ответят на вопросы по грамматике и риторике, графиня Паолина – на вопросы, касающиеся христианской доктрины и мировой истории вплоть до падения Карфагена». Последний экзамен такого рода имел место, когда Джакомо было четырнадцать лет, то есть в 1812-м. К тому времени он уже года два-три как избавился от опеки своих наставников: им больше нечему было его научить, и отец предоставил ему полную свободу в пределах библиотеки, чтобы он продолжал занятия в одиночку.

Этой библиотекой граф Мональдо по праву гордился. Она

включала четырнадцать тысяч томов, аккуратно расставленных в четырнадцать длинных галереях, стены которых были сплошь заняты полками. Он и сам пополнял коллекцию предков, время от времени покупая книги, то отринутые каким-нибудь пастырем-эрудитом, то привезенные изгнанными с Корфу греческими монахами. Все это стоило ему бесконечных ухищрений, нужных, чтобы избежать гнева графини Адelaide: так, однажды ради очередного приобретения он продал мешок зерна, под покровом ночи собственноручно похищенный им из своего же урожая.

Библиотека была отлично распланирована и упорядочена. Над каждым разделом красовалось его название золотыми буквами: «Философия светской истории», «Священная история», «Юриспруденция» и т. д. Джакомо всерьез занялся своим образованием. Он изучал древние языки. Читал – сам, без учителя – латинские, греческие, потом и еврейские тексты из собрания своего родителя. Методично, с пером в руке, он анализировал творения поэтов, историков, Отцов Церкви. Сент-Бёв уподобляет его Паскалю, который с детства проявлял гениальные задатки математика: гениальность филолога обнаружилась у Леопарди так же рано. В возрасте, когда другие мусолят азы, он становится настоящим эрудитом, одним из первых во всей Италии.

Так подросток-затворник, которому не позволяли одному выйти из дому, ничего не зная о внешнем мире, свободно исследовал все прошлое человечества. «Он знал мир, двумя

тысячелетиями отделенный от его времени». Его познания в греческом вскоре так возросли, что он мог написать на этом языке письмо, а позже – сочинить подражание Анакреону, которое обманывало самых опытных знатоков. «Все сопровождалось заметками и комментариями, призванными пускать ученую пыль в глаза». Джакомо жил в библиотеке зимой и летом, портя глаза чтением при одной сальной свече и обзаведясь серьезным искривлением позвоночника, оттого что злоупотреблял писанием. У него было предчувствие, что жить ему недолго, и он хотел добиться ранней славы. Он прочитал и перевел столько поэтов, что в немалой степени овладел техникой стихосложения на латинском, греческом и итальянском языках, но желанных триумфов он ожидал не в этой области. В ту пору он лелеял мечту стать великим ученым, и эта греза уже воплощалась. Он создавал переводы неизвестных греческих авторов, комментарии к произведениям греческих святых отцов второго столетия или церковных историков, предшественников Евсевия Кесарийского¹³³. Мональдо преисполнялся гордости, слушая, как его сын дискутирует на иврите с учеными иудеями, прибывшими из Анконы. Когда аббат Анджело Май¹³⁴, библиотекарь, печатавший свои заметки в миланском журнале «Амбрози-

¹³³ *Евсевий Кесарийский* (ок. 260–339/340) – греческий церковный историк, богослов, «отец церковной истории».

¹³⁴ *Май Анджело* (1782–1854) – кардинал, священнослужитель и филолог, издатель древних текстов; в конце жизни – хранитель папской Ватиканской библиотеки.

ано», обнаружил неизданный фрагмент из сочинений римского грамматика и ритора Марка Корнелия Фронтона¹³⁵, Джакомо первым сделал его перевод, притом безупречный.

Как же случилось, что эрудит Джакомо перешел от ученых штудий к поэзии? «По милости Господней», – отвечает он. Но также, наверное, и потому, что настала пора пробуждения чувств. К восемнадцати годам он обнаружил, что Гомер, Вергилий, Ариосто, Данте приносят ему радости, ни с чем не сравнимые. Читая их, он открывал целый мир в себе самом. Порой из глаз его катились слезы. Он перевел на итальянский в стихах вторую песнь «Энеиды», фрагменты «Одиссеи», немало других текстов. Книги стали для него учебником страстей. До сей поры Джакомо в уединении библиотеки наслаждался спокойным счастьем юного ума, познающего свою силу, открывая для себя древний мир. Когда же наступило время полового созревания, юношу одолела тревога. Что за нелепую жизнь он вел, прорывая, словно блуждающий под землей крот, ненужные ходы среди книг? С семилетнего возраста он корпел в этой библиотеке, испортил себе глаза, ссутулился, скособочился. Его изуродованное тело, напрочь лишённое физических упражнений, уже не выдержит никакого усилия. «Это же прозябание! – вздыхают городские дамы. – Что за странный способ проводить годы юности?»

¹³⁵ Фронто́н Марк Корне́лий (ок. 100–170) – римский грамматик, ритор и адвокат.

Пробуждение было мучительно. При мысли о своей загубленной молодости он приходил в бешенство. «Я самым жалким и неизлечимым образом разрушил себя, сделал отталкивающим, достойным презрения свой внешний облик... то единственное, что имеет значение в глазах большинства людей». Тут он был к себе не в меру суров. Его лицо с большими печальными глазами было тонко и даже по-своему красиво. Изящные черты, тонкий нос, «улыбка несказанная, словно небесная». Но эта прекрасная голова была втянута в плечи. Напрашивался жестокий вывод: надо взглянуть правде в глаза – он будет выглядеть горбуном. Какая женщина решится полюбить мужчину, в котором красива только душа? «И что с того?» – ответили бы поистине «ужасные родители» юноши. Джакомо с восьми лет заставили носить монашескую рясу. Отец настаивал, чтобы он принял посвящение в сан. Сутана священника скроет горб книгочея. Но Джакомо погрузился в горестные раздумья. Склоняясь над краем колодца, он с горьким сладострастием грезил о смерти.

Для робкого подростка-калеки возраст любви – тяжкая драма. Вот уже год Леопарди мечтал, как другие мужчины, говорить с красивыми женщинами, пробуждать улыбку на их устах – короче, нравиться. Но он жил в абсолютном одиночестве, не дававшем для этого ни малейшего повода. Ему исполнилось девятнадцать, когда в замок Леопарди приехал погостить на три дня его пожилой кузен, граф Ладзари, с женой. Графиня Гертруда была хороша собой. Джакомо напо-

вал сразила ее красота. Что до Гертруды, ее роль была абсолютно пассивной. Покорная жена старикашки, она едва замечала этого молокососа. Играла с Джакомо в карты, улыбалась ему, так как улыбка ей шла, а еще потому, что она была добра и жалела бедного юношу. О любви никто и слова не сказал, но этот визит его потряс. Влюбившись в первый же вечер до безумия, он испытывал мучительное смятение при мысли, что та, которая его пленила, уедет. После ее отъезда он стал проводить неделю за неделей, культивируя свои чувства и наблюдая за ними. Он питал их чтением Расина, Гёте, Байрона, Шатобриана. Завел «дневник любви». О графине Ладзари он там почти не упоминал. Что он мог о ней сказать? Он ее не знал. Тем не менее она служила опорой его чувствам: «Я познал одно из тех очарований, без которых невозможно стать великим». Он писал нечто большее, чем дневник своей любви к одной особе, – это был именно дневник любви.

В любом юном существе желание и тревога пробуждаются как силы, ни с чем не связанные, ищущие объекта, к которому они могли бы обратиться. Тогда в дело вступает воображение, украшая всеми мыслимыми прелестями неизвестных, которые оказались поблизости, случайно занесенные течением жизни. Леопарди, подобно многим его сверстникам, любил ту, кого именовал Несравненной. Стоило графине Гертруде скрыться в тумане забвения, как ее место заняли, сами о том не ведая, две девушки – дублерши, призван-

ные отныне исполнять роль Возлюбленной. Одна из них, Тереза Флатторини, была дочкой кучера, другая, Мария Белардинелли, имела столь же скромное происхождение. Видеть их Джакомо мог только из окна, когда оно было открыто, да еще удавалось порой услышать, как они пели. Он издали любовался этими хорошенькими девушками, как смотрят на «небо без единого облачка, на сад, полный плодов, на золотистые тропинки, на далекое море и холмы»: «Никогда язык человеческий не смог бы выразить чувств, что переполняли тогда мое сердце». Ему в жизни не довелось обменяться с кем-нибудь из этих девочек ни единым словом, кроме мимоходом брошенного «Добрый день». Да и нужно ли еще что-нибудь? В его стихах они станут Нериной и Сильвией. Поэзия способна прорасти из бедной, оголенной жизни, как цветок во впадине скалы.

II

У Италии, с городками, подобными Реканати, – ханжеской, реакционной, антифранцузской, – был антипод: Италия ценителей Стендаля и Байрона, антиклерикальная, либеральная, антиавстрийская. Немалая часть таких мятежных душ и к тому же просвещенных умов обитала в Милане. В 1817 году, закончив перевод второй книги «Энеиды», Джакомо послал его не только аббату Анджело Майи в журнал «Амброзиано», но также Винченцо Монти и Пьетро Джор-

дани¹³⁶. Монти, натура приспособленческая, после падения Наполеона дезертировал из стана либералов, зато Джордани держался стойко. Ему было в ту пору сорок три года, он звался «аббат Джордани», так как получил образование в семинарии, однако вышел оттуда, проникнувшись непреклонным антицерковным духом. Его сподвижники в политической борьбе отзывались о нем как об одном из самых выдающихся писателей Италии. Он стал одним из кумиров Джакомо Леопарди, поэтому тот и послал ему свою «Энеиду»: «Если со стороны того, кто ничего собой не представляет, обращаться с письмом к великому человеку преступно, я виновен... И у меня нет иного оправдания, кроме необъяснимой потребности дать знать о себе моему государю, ибо я, несомненно, являюсь вашим подданным, так же как все, кому дорога литература...»

Анджело Май и Винченцо Монти откликнулись учтиво. У Джордани столь преувеличенные похвалы поначалу вызвали отвращение, но, сообразив, как немислимо юн его корреспондент, он тотчас же послал с нарочным в редакцию «Синьора Контини» следующий отзыв: «Мне нравится думать, что в XX столетии граф Леопарди (которого я уже люблю) будет признан одним из тех, кто возвратил Италии ее потерянную честь». Леопарди, что естественно, был опьянен этими словами, и на Джордани обрушился поток столь

¹³⁶ Монти Винченцо (1754–1828) – поэт и филолог. Джордани Пьетро (1774–1848) – писатель, публицист и искусствовед.

долго сдерживаемых излияний: «Меня переполняет желание славы, огромное, может стать, дерзкое, непомерное». Он страстно жаждал, чтобы его направляли. Монти не скрыл от юноши, что в его писаниях есть недостатки. «Но ведь бесполезно говорить слепому, что он заблудился, если не показать, в какую сторону надо повернуть», – отвечает Джакомо. И признается, что им овладела властная потребность покинуть свой городок: «Есть ли в Реканати хоть что-нибудь прекрасное? Достойное того, чтобы увидеть это или узнать? Ничего... Бог создал мир, полный чудес, а я в восемнадцать лет должен сказать себе: „Мне суждено жить в этой дыре и умереть там же, где родился“».

Джордани советует запастись терпением и обещает навещать Леопарди. Но ожидание затягивается. Джакомо изводит себя: «Уединение невыносимо для того, кого пожирает внутренний огонь». Наконец Джордани приезжает. Этот пятидневный визит перевернул жизнь юного затворника. Вначале все обернулось плохо: когда Джакомо впервые в жизни вышел один из дома и помчался к своему незнакомому другу на постоянный двор, на пути ему попался его отец. Но благодаря тому, что Джордани был аббатом, граф Мональдо дал себя уломать и даже разрешил сыну целый день бродить по городу, сопровождая гостя. Ах, как горько он будет об этом сожалеть! «Стоило появиться Джордани, и обоих моих сыновей как подменили. До сих пор они никогда – в буквальном смысле никогда – не оставались без присмотра, моего и их

матери. Я допустил, чтобы они свободно общались с Джордани, считая, что они будут в дружеских, честных руках...» Бедный Мональдо так и не узнал, какие тогда велись разговоры: сколько было жалоб на мелочную ограниченность жизни городка, планов на будущее, откровений, касающихся политики и религии, как гость воодушевлял его отпрысков, побуждая наладить связь с предводителями итальянского освободительного движения. «Когда Джордани уехал, – заключает граф-родитель, – он увез с собой секреты моих детей... Отныне они возненавидели отчий дом, где чувствовали себя пленниками, чужими, может статься, даже я сам стал им ненавистен. Меня, столь преисполненного любви, их испорченное воображение превратило в нестигаемого тирана».

На самом деле влияние Джордани не подействовало бы так быстро, если бы воспитательные методы, принятые в родовом гнезде Леопарди, не подготовили почву для бунта. Мечты об освобождении уже носились в воздухе, которым дышали эти молодые люди. Карбонарии и прочие заговорщики вынашивали планы, как избавить Италию разом от австрийского и папского владычества. «Сегодня, – писал Леопарди, – мне пошел двадцатый год. Чем я занимался до сей поры? Ни одного великого дела... О моя страна, моя страна! Я не могу пролить за тебя свою кровь, ибо ты более не существуешь... Во имя какой цели, ради кого, какой родине отдать свой труд, не пожалеть страданий и крови своей?» Как только Джордани открыл ему глаза, Леопарди ощутил себя

итальянским патриотом и 1 февраля 1819 года опубликовал две канцоны: «К Италии» и «На памятник Данте». Третье патриотическое сочинение, «К Анджело Май, когда он нашел рукопись Цицерона „О Республике“», выйдет в свет в Болонье в 1820 году.

Современного читателя, может быть, не оставит равнодушным формальное совершенство этих стихов, но не их пафос. Они – продолжение все тех же «бесконечных жалоб и сетований», что у Данте и Альфьери, в «Коринне» госпожи де Сталь и в байроновском «Чайльд-Гарольде»: причитания над Италией, лишенной былой славы, знакомые восклицания:

О родина, я вижу колоннады,
Ворота, гермы, статуи, ограды
И башни наших дедов,
Но я не вижу славы, лавров, стали,
Что наших древних предков отягчали¹³⁷.

Подражания античным классикам, в особенности Симониду¹³⁸, его, по выражению Сент-Бёва, «микенским древностям» у Леопарди сплошь и рядом грешат академической риторичностью. Но крепко сбитая форма стихов свидетельство тому, что дебютант мастеровит, рука его тверда. Его первые

¹³⁷ Перевод А. А. Ахматовой.

¹³⁸ *Симонид Кеосский* (ок. 557/556 – ок. 468/467 до н. э.) – древнегреческий поэт.

опыты не уступают ранним политическим одам Виктора Гюго. Яростные выпады Леопарди против Франции звучат эхом аналогичных обличений Клейста. Каким-то чудом этот маленький том находит издателя, и Леопарди удается распространить три сотни экземпляров. У его отца все это вызывает мучительное беспокойство: «Я не знаток таких материй, чтобы судить, но не могу одобрить этих восторгов насчет Италии времен ее борьбы и славы. Что до меня, я считаю необходимым повиновение и не вижу большой разницы, рожден ли правитель по ту или по эту сторону Альп». Так и кажется, будто слышишь речь Асканио дель Донго!¹³⁹ Впоследствии Карло Леопарди, склонный к сарказму, откомментирует это так: «Наш родитель едва не облысел с перепугу».

Надо сказать, что Реканати, как и всю Италию, в те дни раздирали на части две группировки заговорщиков. Обе стороны – и карбонарии, и конгрегация санфедистов¹⁴⁰, стремящаяся упрочить церковную и светскую власть папы, – пылали фанатическим рвением. В каждом семействе вспыхивали раздоры между отцами и детьми. Наступили времена заговоров, припрятанного оружия, и, как явствует из переписки Байрона, во мраке ночи можно было различить силуэты скачущих куда-то вооруженных всадников. Стоит ли после этого удивляться, что Мональдо приходил в ужас, слыша, как

¹³⁹ *Асканио дель Донго* – герой романа Стендаля «Пармская обитель» (1838).

¹⁴⁰ *Санфедисты* (священная уния) – тайный союз в защиту папства, основанный кардиналом Эрколе Консальви (1757–1824).

стихи его сына превращаются в боевые песни партизан? «О Джакомино! – писал своему ученику Джордани. – Каким великим человеком ты стал уже сегодня!.. Твои песни пробегают по городу, оставляя за собой огненный шлейф! Каждый стремится их узнать... Я никогда не видел, чтобы стихи или проза вызывали столько восторга и похвал. О тебе толкуют, будто о чуде». И тот же Джордани в письме к третьему лицу высказался так: «Дадим ему хотя бы одно десятилетие жизни и здоровья, вырвем его из кошмарных условий, в которых он вынужден томиться, и тогда можете назвать меня глупейшим из болванов Италии, если в 1830 году мир не признает, что даже в эпохи величия страны мало найдется итальянцев, равных Леопарди». Это заставляет вспомнить реакцию Луи де Фонтана¹⁴¹ на дебют Шатобриана и доказывает, что Джордани был если не великим писателем, то чутким судьей чужих творений.

Но и став знаменитостью, юноша остается пленником, полностью отрезанным от внешнего мира. Мать продолжает категорически отказывать сыну в карманных деньгах, отец не дает ему ровным счетом никакой свободы. Воспаление глаз, вызванное неумеренным чтением, с некоторых пор разлучило его даже с обожаемыми книгами. Что предпринять? Отец согласился бы на крайний случай отправить его в семинарию, но близкое знакомство со светской литературой, равно как и влияние Джордани, привели к тому, что молодой че-

¹⁴¹ Фонтана Луи де (1757–1821) – писатель и политический деятель.

ловек утратил веру, хотя католический церемониал по-прежнему мил его сердцу. Стать священником было бы теперь бесчестным святотатством. Последнюю надежду он возлагает на маркиза Карло Античи, дядю с материнской стороны, живущего в Риме и пользующегося там некоторым влиянием. Леопарди пытается получить римский паспорт, и он близок к цели.

Уже поверив в свой отъезд, он оставляет для брата Карло письмо: «Я уезжаю, не предупредив, чтобы никто не мог свалить на тебя ответственность за мой поступок... Две главные причины толкнули меня на это решение: одна из них – невозможность продолжать свои занятия, другую не хочу объяснять, но ты сам догадаешься...» Этой второй причиной была потребность любить и быть любимым. Его приводила в отчаяние вынужденная оторванность от какого бы то ни было женского общества, на которую его обрекала сумасшедшая предусмотрительность родителей. Отцу он писал: «Во имя семьи и очага, чего я никогда не знал, вы требовали от ваших детей, чтобы они принесли в жертву не только свое физическое здоровье, но и самые естественные желания, молодость, всю свою жизнь...» План сорвался в последний момент: граф Мональдо перехватил паспорт. Он любил своих сыновей куда нежнее, чем они могли бы вообразить, и разделял их пристрастие к книгам. Но, как сказал Карло, «он слишком рано, на самой заре жизни, запутался ногами в женских юбках, ему было не выпутаться».

В тот день Леопарди окончательно утратил доверие своего родителя. Он отказался и дальше рядиться в аббата. Из-за болезни глаз лишившись возможности находить убежище в чтении, не имея никаких контактов с реальной жизнью, он более не желал ничего. Даже смерти. Даже счастья. «Я всецело предавался ужасным, варварским уладам отчаяния». Он цитирует Плутарха: «И я сам, я тоже из тех, кто находит удовольствие в стенаниях». Здесь возникает искушение лишний раз вспомнить Клейста и Шатобриана. Некоторые души, познав себя в треволнениях, не ищут избавления от мук, страшась потерять тот глубокий отклик, который страдание будит в них. Они заботливо возвращают свою печаль, ибо она – источник поэзии. Нестерпимая боль рождает гениальность. Чтобы увидеть природу глазами художника, нужно воспарить над нею. Мученик, отказавшись от действия, может всецело посвятить себя размышлению. Вот и для Леопарди 1819 год, столь трагический для него, стал временем создания тех знаменитых идиллий, которых хватило бы, чтобы по праву назвать его великим поэтом. Что же такое его идиллии? Моментальные вспышки эмоций, очень краткие, схваченные и запечатленные за пару минут, а затем ценой долгого труда доведенные до формального совершенства. Леопарди всю жизнь вел дневник, который называл «Zibaldone» («Всякая всячина») ¹⁴²: собрание мыслей и заме-

¹⁴² *Zibaldone* – итальянское жаргонное слово для обозначения «общей тетради», куда записываются полезные сведения, афоризмы, цитаты и рецепты. «Днев-

ток о прочитанном; там мы находим отрывочные наметки, наброски его стихотворений. Представьте себе Жюль Ренара¹⁴³, который из каждой остро подмеченной миниатюры извлекал бы впоследствии песнь в духе Теокрита¹⁴⁴.

«Крестьянин, громко сам для себя читающий „Богородице“ и „Вечная память“, стоя у входа в свою лачугу, а потом смотрящий на луну, низко висящую над вершинами деревьев... – Двое молодых парней, сидящие на пустых замшевых ступенях церкви, балагуря и толкаясь под большим фонарем... – Дочка кучера, заглядывающая в окно и говорящая тем, кто сидит в доме за ужином: „Нынче вечером жди хорошего ливня! Ну и темень! Черно, как в печке!“ Наконец раздается голос: „Ах, вот и дождь пошел!“ Легкий весенний дождик. Все спешат разойтись по домам. Я слышу хлопанье дверей, скрип ключей в замочных скважинах».

Беглые зарисовки, но их набросала рука мастера, за ними угадывается неизреченная глубина мысли, в этом сила идилий Леопарди. Природа становится гигантской метафорой, чувственным прообразом потаенной истины. Я бы сказал, что это приводит на память греческую антологию, летучие заметки Шелли, и сюда же надо добавить некоторые див-

ник размышлений» Леопарди («Zibaldone di pensieri»), впервые опубликованный в 1900 г., содержит заметки поэта за 1817–1829 гг.

¹⁴³ *Ренар Жюль* (1864–1910) – писатель и драматург, автор «Дневника», который он вел в 1887–1910 гг.

¹⁴⁴ *Теокрит* (Феокрит; ок. 300 – ок. 260 до н. э.) – древнегреческий поэт, известный своими идиллиями.

ные стихотворения Гюго, а также кое-что из стихов Валери. Но простота Леопарди неподражаема. Его словарь редкостно прихотлив, поскольку ему нравится воскрешать, омолаживать старинные речения, но вместе с тем этот словарь беден, так как автор запрещает себе употребление ученых терминов. Как все большие поэты, он придавал решающее значение музыке стиха:

Теперь ты успокоишься навеки,
Измученное сердце. Исчез обман последний,
Который вечным мне казался, — он исчез,
И чувствую глубоко, что во мне,
Не только все надежды
Обманов дорогих,
Но и желанья самые потухли¹⁴⁵.

Сент-Бёв перевел несколько идиллий на французский язык, но французские александрины не дают никакого представления о стремительном, воздушном ритме Леопарди:

Всегда любил я холм пустынный этот
И изгороди терен, оттеснивший
Пред взором край последних отдалений.
Я там сижу, гляжу — и беспредельность
Пространств за терном тесным, и безмолвий
Нечеловеческих покой сверхмирный

¹⁴⁵ Перевод Д. С. Мережковского.

Впечатлеваю в дух, – и к сердцу близко
Приступит ужас... Слышу: ветер шуршащий

Отронул заросль – и сличаю в мыслях
Ту тишину глубокого покоя
И этот голос, – и вспомню вечность,
И мертвые века, и время наше,
Живущий век, и звук его... Так помысл
В неизмеримости плывет – и тонет,
И сладко мне крушенье в этом море¹⁴⁶.

Реакция Мональдо на первые стихотворные опыты сына была более чем холодной. От патриотических песен несло бунтарским духом, от идиллий – греховным соблазном. Не было ли подобное сочинительство одной из тех легкомысленных, вредоносных забав, от которых надо отрешиться тому, кто силен духом и способен достигнуть высочайшего ранга в почтенных областях эрудиции и философии? Граф Леопарди громоздил все препятствия, какие только мог, на пути публикации этих стихов, «которые могли быть истолкованы как подстрекательство к мятежу» и которых не одобряла австрийская полиция. Отчаяние Джакомо достигло крайних пределов. Сам Джордани признал, что его положение, похоже, безвыходно. «Я вижу, – писал он, – что ваши горести не знают предела, им не видно конца, вас ничто не может ни исцелить, ни утешить. Одно могу сказать: если Бог пошлет

¹⁴⁶ Перевод В. И. Иванова.

вам смерть, вы должны принять ее как благодеяние... Теряя жизнь, вы не потеряете ничего». Любопытно, что эта тирада имела неожиданный результат: Леопарди почувствовал привязанность к жизни.

На протяжении года он более не писал стихов, но заполнил одну тысячу сто шестьдесят семь страниц своего волшебного садка – «Zibaldone». Там было все: философия, филология, естественные науки, история, критика, выписки из прочитанного. И то здесь, то там – блистательная стихотворная строка.

«Надежда, что с каждой зарею рождается вновь... И странствует вместе со мною луна...» В этом дневнике мы находим подлинного Леопарди – читателя, вскормленного всем тем, что есть лучшего у классических авторов. А следующим летом он снова садится за работу и слагает стихи, в которых нет чистой легкости «идиллий», зато появляется могучая страдальческая исповедальность. Такова последняя песнь Сафо, жалоба нежной и благородной души, прикованной к изуродованному телу:

Отец Олимпа дал нам дивный образ
И вечное признание за деянья
Иль сладостное пенье.
Но в хилом теле дремлет вдохновенье¹⁴⁷.

¹⁴⁷ Перевод А. Б. Махова.

Так вслед за своими обожаемыми греками Леопарди приходит к мысли, что уродство сродни преступлению. Он начинает ненавидеть себя за свое изувеченное тело. В стихотворении «Брут младший» фигурирует человек, сумевший излечиться от этой беды ценой самоубийства. Желание смерти, что одолевало его с детских лет, растет.

III

Зимой 1822–1823 годов ворота склепа, в котором заживо был заточен Леопарди, распахиваются. Его дядя маркиз Античи, жалея племянника, выражает готовность отвезти его в Рим. «Ужасные родители» вынуждены уступить настояниям этого уважаемого человека. Леопарди, давно уже только и живший что в Древнем Риме, ждал от предстоящего путешествия одновременно встречи с красотами, превосходящими человеческое воображение, и открытия нового, живого мира, где обитают прекрасные женщины, которые наконец поймут, что он гениален и достоин любви. Но его ждало разочарование. Он писал своему брату Карло: «Мне не доставляют удовольствия все эти громады, которые я здесь вижу. Я знаю, что они великолепны, но я этого не чувствую... Клянусь тебе, милый Карло, мое терпение и вера в себя не только подорваны, но и уничтожены...» В Реканати его бранили, в Риме, казалось, даже не замечали, что он существует. Леопарди ненавидел свой городишко с его мелочной узостью,

здесь же он открыл, что хотя бы одно достоинство у Реканати есть – соразмерность человеку. «В большом городе живешь безо всякой связи с тем, что тебя окружает». Он надеялся, что столичные эрудиты, подобные Анджело Майи, ныне монсеньору Майи, станут искать его общества. Но, посетив Майи, встретил прием любезно отстраненный, светский: короче, монсеньор выглядел поверхностным и совершенно неспособным осознать, что перед ним аристократ духа. «Привлечь к себе внимание других в условиях большого города – затея безнадежная».

В доме своего дяди он был, разумеется, принят как родной, однако обиход семейства Античи казался ему таким же провинциальным, как тот, что был принят в Реканати. Джаккомо надеялся, что, ускользнув из-под строгого надзора родителей, он сможет познать в Риме радости легкой любви. Увы, его робость и физические недостатки оказались препятствием более неодолимым, чем отцовская бдительность. «Сближение с женщиной в Риме так же затруднительно, как в Реканати, или даже труднее из-за крайней развязности этих самок, к тому же не внушающих ни малейшего интереса, настолько они полны притворства и не способны думать ни о чем, кроме забав». Его подавленность усугубляют равнодушные молодых женщин и растущая уверенность в том, что любовь и красота не для него, и это на всю жизнь. Однако Рим тех лет – тот самый, в котором Стендаль испытал столько ярких наслаждений. Но Стендаль не был ни таким обидчи-

вым, ни таким дикарем. К тому же Леопарди преувеличивал свое уродство – он пришел к заключению, что нравиться не может, и, отчаиваясь, тем вернее терял привлекательность. «Это самая горькая и унижительная пора моей жизни... Люби меня, ради Бога, – писал он брату. – Мне необходимы любовь, любовь, любовь, любовь, жар сердца, воодушевление, жизнь. Мир, кажется, создан не для меня, и мне сдается, что сатана еще страшнее, чем его малюют!»

Однако мало-помалу мир ученых открывает перед ним свои двери. Но археологи, придававшие больше значения какой-нибудь найденной надписи, разбитой колонне или монете, чем самому прекрасному стихотворению, казались ему смехотворно напыщенными. Стендаля это забавляло, Леопарди приводит в негодование. Ученые-иноземцы раздражают его меньше, в их кругу говорят по-французски, притом остроумно. Посол Пруссии в Ватикане Бартольд Нибур¹⁴⁸, выдающийся ученый, заметил поразительную эрудицию этого уродливого молодого человека: «Прочтите „Аннотации к хроникам...“ – какое проникновение в суть! В этой стране я никогда не видел ничего подобного». Он отправится к Леопарди с визитом, посетит его на чердаке дворца Античи и, возвратясь оттуда, заключит: «Я наконец нашел итальянца, достойного Древнего Рима!» Нибур горячо рекомендует Джакомо кардиналу Консальви¹⁴⁹, который готов оказать

¹⁴⁸ *Нибур Бартольд Георг* (1776–1831) – немецкий историк Античности.

¹⁴⁹ *Консальви Эрколе* (1757–1824) – кардинал-мирянин, дипломат и советник

поддержку протезе посла, если Леопарди согласится надеть mantelletta – «малую рясу» ватиканского двора, то есть принять своего рода малую схиму. Итак, карьера прелата? Некоторое время Леопарди играет с этой идеей, но приходит к выводу, что при отсутствии веры надо сохранять свободу, и уезжает из столицы. Героическое отречение! Между тем в «палаццо» Леопарди атмосфера не изменилась. Два противоборствующих лагеря – родители и святые отцы – ревностно отстаивают нерушимость власти старших, правомерность политического гнета, всяческие строгости, дети жаждут свободы, независимости. Карло и Паолина мечтают о любви, приходят в отчаяние, грезят о бегстве. Первому это удастся – посредством брака, но сестре так никогда и не суждено вырваться на волю. Джакомо, затворившись у себя в библиотеке, пишет «Нравственные очерки», где в форме эссе, диалогов и монологов раскрывается сущность философии, а точнее, состояния души человеческой. Тема всех этих отрывков одна и та же: жизнь есть зло, только смерть – благо... Торговец предлагает покупателям календарь наступающего года. «Будет ли он счастливым?» – спрашивает прохожий. Торговец отвечает: мол, хотелось бы надеяться. «Но был ли в вашей жизни хоть когда-нибудь счастливый год? Хотели бы вы прожить заново вашу жизнь, ничего в ней не меняя? Известен ли вам хоть один человек, который пожелал бы этого? Так что же из этого следует? Жизнь, которую мы называем

папы Пия VII; занимал высшие административные посты при Святом престоле.

прекрасной, – совсем не та, какую мы знаем, не та, что миновала, она всегда будущая, то есть неведомая нам... Что ж, дайте мне самый красивый из ваших календарей. Вот вам за него тридцать су». Счастливая жизнь, подобно идеальной возлюбленной, становится для поэта «Несравненной».

Многие из этих диалогов, построенных как подражание Лукиану¹⁵⁰, при всей легкости формы по-своему совершенны. Сам Мандзони¹⁵¹ заметил: «Пожалуй, это лучшее, что когда-либо было написано в итальянской прозе». Мысль, которая там содержится, в полной мере субъективна. Однако Леопарди сердился, когда ему говорили, что его пессимизм – отражение невзгод, пережитых автором. Только трусость, считал он, и отказ признать реальный ужас существования побуждают людей воспринимать его философские умозаключения как следствие личных страданий. Он же претендовал на высказывание мнений, в общих чертах относящихся ко всем и каждому. Вселенная непостижима, жизнь человеческая с точки зрения этой бесконечности – ничто, следовательно, любая деятельность заведомо тщетна, отсюда скука и бедственность бытия. Тут он приближается к Байрону и Шатобриану, но горечь этих мыслей переживает глубже. Ведь наперекор своим теоретическим соображениям Байрон

¹⁵⁰ *Лукиан из Самосаты* (ок. 120 – после 180) – древнегреческий писатель, автор философских диалогов.

¹⁵¹ *Мандзони Алессандро* (1785–1873) – писатель-романтик, автор романа «Обрученные» (1821–1842).

и Шатобриан были не чужды как деятельности, так и любви. А Леопарди предстояло на всю жизнь остаться Человеком Вне Игры, отвергающим ее, не находящим в ней достойных партнеров. Но ведь никто не может судить о деятельности, не познав ее изнутри.

В 1825 году шанс, казалось, представился. Антонио Стелла, издатель из Милана, решил выпустить полное собрание Цицерона в итальянском переводе с комментариями. Он настаивал, чтобы молодой ученый взял на себя руководство этой работой. О чудо, граф Мональдо согласился на это! Он думал, что суровая миланская полиция не позволит его сыну свернуть с пути истинного и принудит сохранять почтение к существующей власти. По дороге Леопарди остановился в Болонье и там благодаря Джордани впервые оказался в дружеском кругу, где его полюбили и оценили. Ему в этом городе настолько понравилось, что Милан, когда он туда добрался, разочаровал его, подобно Риму и по тем же причинам. Он поспешил назад в Болонью. На то, чтобы прожить, у него было только двенадцать экую, ежемесячно выплачиваемые Стеллой, да несколько учеников, которым он давал уроки латыни. Зато здесь он обрел друзей.

Отдадим должное жителям Болоньи: сохранять верность Леопарди было не так легко. Долгая жизнь затворника сделала его раздражительным. Его мучили головные боли, запор, бессонница. В доме ему вечно было слишком жарко или холодно, свет казался чересчур тусклым или несносно ярким.

Друзья мирились с необходимостью то сидеть с ним в потемках, чтобы он мог дать отдых своим глазам, то закрывать все окна, чтобы его не продуло, и удовлетворять его постоянную потребность в сладком. Он клал в чашку кофе по шесть кусков сахара и, сверх того, с утра до вечера то и дело требовал мороженого. Его гостям приходилось безропотно смотреть, как он ронял куски пищи на одежду, и без того уже испещренную пятнами, терпеть его манеру надолго замолкать, с шумом нюхать табак, странно щелкать пальцами. Но в атмосфере дружелюбия его недоверчивая напряженность спадала, он оттаивал, и тогда наконец проявлялась его истинная натура, нежная и привлекательная.

В Болонье он познал другие, совсем новые для него радости. Местная академия попросила его почитать свои стихи перед публикой. Как ему показалось, они произвели большое впечатление. Довольно известная поэтесса Тереза Мальвецци¹⁵² открыла перед ним двери своего салона и даже стала принимать его наедине. Ей уже сравнялось тридцать восемь, она никогда не была красавицей, но Леопарди по своей неопытности поддался очарованию. Вскоре он уже посвящал этому любезному синему чулку все свои вечера. Между ними не происходило ничего недозволенного: «Мы никогда не говорим о любви иначе чем в шутку, нас связывает нежная и чуткая дружба...» Однако муж Мальвецци воспроти-

¹⁵² *Мальвецци Тереза*, графиня (1785–1859) – поэтесса и хозяйка известного салона.

вился, такая близость жены с этим маленьким неопрятным горбуном казалась ему смехотворной. Что до дамы, она легко пожертвовала влюбленным, который не стал любовником. Джордани писал Бригенти: «Вы получаете вести от Леопарди?.. Правда ли, что он зачастил к этой Мальвецци, которая объявляет себя писательницей? И что она дала ему понять, дескать, ее тяготят частота и продолжительность его визитов? Возможно ли, чтобы Джакомо хоть два раза побывал у подобной особы?» Итак, первая дружба, что завязалась у Леопарди с женщиной, была оборвана грубо и бесцеремонно. А вот и последняя фраза, написанная им о Терезе: «Я прочитал стихотворение Мальвецци. Бедняжка!»

Спустя год и три месяца с тех пор, как он покинул Реканати, Джакомо получил от отца исполненное патетики письмо. Бедный граф уверял сына в своей сердечной привязанности, предлагал втайне от жены прислать немного денег и умолял вернуться под отчий кров. Растрогавшись, Леопарди согласился. Он находил некую усладу в возвращении к своим старинным привычкам. Но атмосфера в доме оставалась все такой же удушающей. Мальчишки Реканати с поразительной жестокостью преследовали Джакомо, гонялись за ним по улицам, швырялись снежками, крича: «Горбун!» Заработав немного денег составлением антологии для издателя Стеллы, Леопарди решил отправиться во Флоренцию. Этот город слыл культурной столицей. Швейцарец Жан Батист Вьёсо что ни день принимал в своей читальной зале

образованных вельмож, писателей, артистов и заезжих иностранных знаменитостей. Маркиз Каппони¹⁵³ имел смелость (ведь то были времена цензуры!) издавать журнал «Антология». Мадзини в нем печатался, Леопарди тоже собирался там сотрудничать.

Как некогда в Риме и Милане, он был разочарован и этим большим городом. Люди, окружавшие его там, были хорошо воспитаны и великодушны. Но они смахивали на английских вигов. Верили в прогресс, достигаемый посредством реформ, думали, что либеральная аристократия может привести народ к счастью, улучшив образовательную систему и учреждения, ждали от науки всех мыслимых благ. Короче, они разделяли иллюзии, которыми во Франции к 1848 году проникнется юный Ренан¹⁵⁴. У Леопарди не было иллюзий. Он-то ровным счетом ничего не ждал ни с какой стороны. Простодушный оптимизм флорентийцев вызывал у него грустную усмешку. Реформы! Что в них, если дурны сам род людской, жизнь, мир? Зло коренится в человеческой природе, а не в установлениях. Молодого писателя Никколо Томмазео¹⁵⁵ приводил в отчаяние «черный атеизм» Леопарди, он принялся нападать на него, причем грубо, как мальчишки из

¹⁵³ Каппони Джуино, маркиз (1792–1876) – писатель и государственный деятель, историк Флоренции.

¹⁵⁴ Ренан Эрнест (1823–1892) – философ и писатель, историк религии, автор книги «Жизнь Иисуса» (1863).

¹⁵⁵ Томмазео Никколо (1802–1874) – писатель, филолог и политик.

Реканати. «Смотришь, из волн всплывает маленький граф, – писал Томмазо, – и заводит нараспев: „Бога нет, поскольку я горбат, горбат же я, поскольку Бога нет“». Леопарди как нельзя лучше понял этот жестокий аргумент *ad hominem*, выставляющий вперед личные свойства, а не доводы говорящего. Мандзони, сам великий Мандзони донимал его такими же. И он снова, в который раз, решает уйти от всех. К тому же пронизывающая трамонтана¹⁵⁶ не позволяла ему, больному, слабосильному и хрупкому, провести зиму во Флоренции.

Убежище он нашел в Пизе, городе с ласковым климатом. Там он зажил в уединении, которым не слишком тяготился. Окрестные поля и тропинки напоминали ему Реканати. Свояченица квартирного хозяина Тереза Люсиньяни, девушка пятнадцати лет, стала для него тем, чем когда-то были случайные встречные, вдохновительницы ранних идиллий, – его «Несравненной». Семьдесят семь лет спустя к ней придут с расспросами о знаменитом поэте, которого она когда-то знала. И она признается, что он производил на нее неприятное впечатление. «Он был уродлив, – сказала она. – Слишком редко менял рубашки, а когда пил шоколад, он у него стекал по подбородку». Да он никогда и не стремился ей понравиться. Чего он хотел от Терезы? Лишь одного: чтобы она была рядом. Покидая Пизу, Леопарди писал об этой девушке: «В ее лице, в движениях есть что-то – не знаю, что именно, – почти божественное». Любуясь ею, такой живой,

¹⁵⁶ *Трамонтана* – холодный северный и северо-восточный ветер в Италии.

юной, естественной, он сочинил прекрасное стихотворение «Пробуждение», где выражена радость человека, ощущающего, как в нем снова вскипают жизненные силы:

Опять со мною озеро
И лес на косогоре,
О чем-то шепчет море,
Беседует родник.
И после сна столь долгого
Я слезы лью обильно!
Кто мне велит? Как сильно
Взгляд от всего отвык!¹⁵⁷

Воскрешение былого посредством впечатлений настоящего (о Пруст!) и в Пизе, и в Реканати, куда он возвратился чуть погодя, вдохновило его на идиллии столь же чистые и трогательные, как те, с которых он начинал. Он вспомнил Сильвию и Нерину, что заставляли его отроческое сердце биться сильнее. Ему нравилось «возвращать время», воспевая утраченное прошлое. Смерть его двадцатичетырехлетнего брата Луиджи и мольбы удрученного отца заставили его снова вернуться в мрачный дом семьи Леопарди. То было его последнее возвращение, он обосновался там, заперся, никого не желая видеть, и даже ел в одиночестве. «Зрелище человека, испытывающего физическое удовольствие, противно для окружающих», – говорил он. Без малого пол-

¹⁵⁷ Перевод А. Г. Наймана.

тора года он пытался работать над ироническими сочинениями – «Энциклопедия бесполезных знаний» и «Искусство быть несчастным». Но из горестных глубин его печали поднималась только чистая, легкая, бесплотная мелодия идиллий. В те месяцы были написаны «Воспоминания», «Покой после бури», «Суббота в деревне» и «Ночная песнь пастуха, кочующего в Азии».

Что делаешь на небе ты, Луна?
Безмолвная, ответь¹⁵⁸.

Да, что делает она, эта вечная одинокая странница? Ведомо ли ей, что такое смерть и в чем назначение всех вещей? Но никакого ответа не дают ни серебристая луна, ни само небо. Хотя истина, может статься, заключена в последних строках стихотворения:

Родившимся – несчастья груз сполна
Их первый день несет¹⁵⁹.

IV

Но когда Леопарди впал в беспредельное отчаяние, кото-

¹⁵⁸ Перевод А. А. Ахматовой.

¹⁵⁹ Перевод А. А. Ахматовой.

рое всегда внушал ему унылый дом в Реканати, он вдруг получил щедрое предложение. Пришло письмо: генерал Пьетро Коллетта¹⁶⁰ от имени кружка флорентийских друзей писал, что поэту предлагается ежемесячное пособие, которое позволит ему жить и работать во Флоренции. Это пособие не повлечет за собой никаких обязательств с его стороны. Проявляя редкую деликатность, Коллетта, сверх того, уверил Леопарди, что предложение исходит от почитателя, пожелавшего остаться неизвестным. Во мраке, обступившем Джакомо, это был луч света, «более живительный, чем первый проблеск зари на исходе полярной ночи». Он согласился. Теперь ему предстояло провести два года в Тоскане, где в его жизнь, полную стольких превратностей, войдут две великие страсти – дружба и любовь.

Его другом стал Антонио Раньери¹⁶¹, молодой неаполитанец, рослый, пригожий парень, обожавший литературу, в отношении женщин – несколько вульгарный донжуан, зато к Леопарди он с первой же встречи проникся восхищением, к которому примешивалась нежность. Для романтически настроенного Раньери кошмарное физическое и моральное состояние Леопарди, в то время уже полуслепого, серьезно больного и безутешного, стало причиной особенно пылкой

¹⁶⁰ *Коллетта Пьетро* (1775–1831) – неаполитанский историк и государственный деятель.

¹⁶¹ *Раньери Антонио* (1806–1888) – писатель и политик, известен в основном как друг Леопарди.

привязанности к этому страдавшемуся гению. У самого Раньери жизнь тоже была нелегкая. Высланный из Неаполя за свои политические убеждения, проклятый отцом, он едва сводил концы с концами. Правда, у него была замечательная сестра, тоже Паолина, как у Леопарди, она как могла помогала брату. Раньери часто наезжал в Рим, чтобы повидать свою любовницу – актрису Магдалену Пельзет, которую он звал Лениной. Осознав, в каком одиночестве и унынии живет Леопарди, он предложил ему поселиться вместе.

Преданность Раньери трогала Джакомо тем сильнее, что кружок Коллетты год спустя прекратил выплачивать ему обещанное пособие. Тогда друзья перебрались в Рим и провели зиму в маленькой квартире на виа Кондотти. Раньери хотелось обосноваться поближе к Ленине. Леопарди же говорил: «Дружба, связывающая меня с Раньери, столь крепка, что наши судьбы уже невозможно разделить». И еще: «Только удар молнии, пущенной самим Юпитером, мог бы заставить Раньери, живущего со мной рядом, покинуть меня». Другой новый друг, Луи де Синне, тоже заботился о нем. Этот молодой швейцарский филолог, которому Леопарди в 1830 году передал все свои юношеские сочинения на филологические темы, пытался добиться их публикации в Германии. Именно Синне, который горячо пекся о славе своего друга, привлек к нему внимание Сент-Бёва.

Многие задавались вопросом, не присутствовал ли в основе их пламенной дружбы элемент чувственности. Письма,

которыми обменивались эти двое, до странности пылки. К тому же для того, чтобы связать свою жизнь с Леопарди, самым неуживчивым из людей, требовалась немалая отвага. Но, по правде сказать, эмоциональный тон их писем ничего не доказывает: таков был стиль эпохи. В обществе женщин Леопарди, как известно, робел, убежденный, что нравиться ему не дано. Тем сильнее он нуждался в привязанности. Не стоит удивляться, что он искал ее в дружбе. Очевидно одно: Раньери, а впоследствии и Паолина, «его ангелоподобная сестра», до конца оставались для Леопарди друзьями, каких днем с огнем не сыщешь. Не то чтобы Раньери мог равняться с Леопарди по части интеллекта. Из писем видно, что он был тщеславным и, в общем-то, недалеким малым. Но тут надо представить, как его юношески жаркое восхищение грело душу поэта-горбуна, привыкшего думать, что его все презирают.

Что до любви, то последней женщиной, покорившей сердце поэта, стала молодая флорентийка, очень красивая, но легкомысленная и чувственная Фанни Тарджони¹⁶², жена известного врача и ученого-ботаника. Молва приписывала ей четырех любовников, «двое из которых – воображаемые». Леопарди был ей представлен. Она смекнула, что будет весьма недурно прибавить к свите своих обожателей еще одного, некрасивого, не представляющего никакой опасности, зато

¹⁶² *Тоццетти Фанни Тарджони* (1801–1889) – возлюбленная Леопарди, адресат его цикла стихотворений «К Аспазии» (1833).

гениального. Она называла его *mio gobbetto* – «мой горбунок», а Леопарди в свой черед окрестил ее Аспазией¹⁶³. Не исключено, что по части привлекательности ее еще можно бы сравнить с настоящей Аспазией, и «салон» у нее был, но чем она уж никак не блистала, так это умом. Но Леопарди никогда не умел разглядеть реальную женщину и потому на время произвел эту в ранг «Несравненной» – той, какой во-век не найти. Его любовь началась так же, как любовь Сент-Бёва к Адели Гюго¹⁶⁴. Он пришел к ней и застал ее лежащей на диване в окружении цветов и детей. «С этого дня мне открылись иные небеса, меня озарил божественный свет...»

Вскоре синьора Тарджони, а с ней и вся Флоренция убедились, что Леопарди влюблен. Это очень насмешило публику. Один Раньери все понимал. Ему, избалованному женской благосклонностью, было ясно, что страсть несчастного поэта, которому суждено умереть девственником, от этого лишь жарче. Робость Леопарди по-прежнему пересиливала желание, впрочем, он был бы отвергнут, если бы дерзнул домогаться взаимности. Прекрасной Фанни Тарджони во сто раз больше по вкусу был бравый мускулистый Раньери, чем печальный «горбунок». Леопарди, мало-помалу смирившись, пришел к мысли, что при его слабости роль доверенного посредника между другом и любимой больше пристала

¹⁶³ *Аспазия* (Аспасия; ок. 470–400 до н. э.) – возлюбленная Перикла.

¹⁶⁴ *Гюго Адель* (1803–1868) – супруга Виктора Гюго, после расставания с ним в 1830 г. пережила роман с Шарлем-Огюстеном Сент-Бёвом.

ему, нежели роль обольстителя. Общая ревность к Ленине, любовнице Раньери, сблизила его с Аспазией. Только эта малость и выпала на его долю, но он писал синьоре Тарджони: «Любовь и смерть – прекраснейшие из благ этого мира, лишь они достойны наших желаний. Прощайте, дивная, очаровательная Фанни. Я едва осмеливаюсь просить вас располагать мною, ибо сознаю, что ни к чему не пригоден».

Эти жалостные амурные переживания под пером Леопарди претворились в возвышенные трагические стихи, в «Неотвязную мысль». Любовь теперь названа навязчивой идеей, страшным, но бесценным даром небес. Таковы «Любовь и смерть» (стихотворение потом перевел Сент-Бёв) и «Консальво», где явственно проступает сюжет этой несчастной истории с Фанни Тарджони. Ее конец наступил внезапно. Попытки Джакомо и Фанни общими усилиями вырвать Раньери из объятий Ленины стоили бедному горбуну тех жалких милостей, какие он успел снискать. Леопарди пишет Раньери: «Фанни как никогда ваша всей душой... Она начала дарить мне маленькие ласки, только бы я замолвил за нее словечко перед вами...» А вслед за этим – внезапное молчание, разрыв. Что произошло? Была ли тому причиной связь между Фанни и Раньери? Или гнев последнего, вызванный тем, что вся Флоренция уже потешалась над этим тройственным любовным союзом? Нам известно лишь, что Фанни продолжала вести с Раньери оживленную переписку, причем спрашивала: «Как там наш бедный Леопарди? Я те-

перь в немилости у него, не так ли?», а Леопарди увенчал свой грустный роман стихотворением «К себе самому».

Теперь ты успокоишься навеки,
Измученное сердце.
Исчез обман последний,
Который вечным мне казался, — он исчез,
И чувствую глубоко, что во мне
Не только все надежды
Обманов дорогих,
Но и желанья самые потухли.
Навеки успокойся: слишком сильно
Ты трепетало. Здесь никто не стоит
Биенья твоего. Земля
Страданий наших недостойна.
Жизнь — горечь или скука. Ничего
В ней больше нет. Мир — грязь.
В отчаянье навеки успокойся.
Нам ничего судьбою, кроме смерти,
Не суждено.
Отныне презираю
Я сокровенное могущество Природы,
Бессмысленное, правящее веком,
Чтоб уничтожить все, —
И беспредельную тщету Вселенной¹⁶⁵.

Возвратившись во Флоренцию и обнаружив Леопарди в

¹⁶⁵ Перевод Д. С. Мережковского.

самом прискорбном состоянии, как физическом, так и душевном, Раньери объявил, что намерен увезти его в Неаполь, куда ему самому теперь позволено вернуться. Там за ними обоими станет приглядывать «ангелоподобная Паолина», неаполитанское солнце исцелит Джакомо, и начнется новая жизнь. В той мере, в какой это могло зависеть от брата и сестры Раньери, задуманное исполнилось. Четыре года они окружали больного дружескими заботами. Но жизнь становилась для Леопарди чем дальше, тем более невыносимой. Будучи почти слепым, он все время хотел, чтобы ему читали вслух, из-за бессонницы нуждался в том, чтобы кто-то проводил с ним целые ночи не смыкая глаз. Его неутолимая потребность в сладостях и мороженом оборачивалась тратами, которые тяжким бременем ложились на бюджет более чем небогатого дома. Он требовал пирожных не иначе как от некоего Вито Пинто, кондитера. Вместе с тем прежние недуги – астма, одышка, колит – терзали его все сильнее. Деформация грудной клетки затрудняла работу сердца, оно изнемогало.

В 1836 году близкий родственник Раньери предоставил в его распоряжение маленькую виллу на склоне Везувия, в Торре-дель-Греко. Леопарди полюбился тамошний грустный ландшафт, земля, опустошенная потоками лавы, горные склоны, поросшие золотистым дроком. В этих отважно пренебрегающих опасностью растениях поэту виделся символ жизни человеческой. Разве и мы не цепляемся вечно за

склон вулкана, беззащитные под ударами враждебной природы? И не в том ли величие человека, чтобы смотреть в лицо страшной судьбе, а не пытаться убаюкать себя иллюзиями? Пусть же поэт, сознавая свою обреченность, все же взрастит золотой цветок, — вот в чем истинный героизм. В Торре-дель-Греко Леопарди создал два великих стихотворения: «Дрок, или Цветок пустыни» и «Закат луны».

Но вот — луна заходит
За Альпы, Апеннины
Иль, исчезая, тонет
В Тирренском море сонном, —
И обесцвечен мир!¹⁶⁶

Суть мироощущения Леопарди сконцентрирована в этих его словах:

Когда желанья живы,
А цели — безнадежны,
Страданья неизбежны
И впереди темно...¹⁶⁷

В 1837 году на Неаполь обрушилась опустошительная эпидемия холеры, но Леопарди в своем убежище в Торре-дель-Греко умер не от нее, а от болезни сердца. В день

¹⁶⁶ Перевод И. И. Тхоржевского.

¹⁶⁷ Перевод И. И. Тхоржевского.

своей кончины, беседуя с Раньери, он внезапно спросил:

– Почему Лейбниц, Ньютон, Колумб, Петрарка, Тассо оставались приверженцами католической религии, между тем как нам церковные доктрины не приносят ни малейшего удовлетворения?

– Безусловно, веровать было бы лучше, – отвечал Раньери, – но, если наш разум отвергает веру, наша ли в том вина?

– Разум этих великих людей ее не отвергал, – возразил Леопарди.

Наступило молчание. Потом он вновь заговорил, но таким слабым голосом, что Раньери едва мог его расслышать. Он продиктовал последние шесть строк «Заката луны», это были стихи пронзительной красоты. Под вечер, когда Паолина, поддерживая голову Леопарди, стала утирать с его лица предсмертный пот, он вдруг широко раскрыл глаза и произнес: «Я больше не различаю вас!» И перестал дышать.

V

Известие об этой смерти граф Мональдо получил в тот самый момент, когда карабинеры доставили к нему его младшего сына Франческо. Его изловили при попытке бежать с дочерью кухарки. Такой поступок совсем не трудно было предвидеть, учитывая воспитательные методы, принятые в палаццо Леопарди. Мональдо распорядился, чтобы за упокой души его старшего сына ежегодно служили по десять

месс, но имени Джакомо не произносил более никогда. Что до графини Аделаиды, когда некий почитатель Леопарди десять лет спустя, глядя на портрет великого поэта, воскликнул с пафосом: «Блаженна та, что тебя вырастила!» – дама подняла глаза к небу и пробормотала: «Да простит его Господь!»

Истинно опечалилась, узнав об этой потере, одна лишь Паолина Леопарди, но впоследствии, по мере того как посмертные издания ее брата стали выходить в свет, она волей-неволей прятала их в шкафу для «скверных книг», отправляя в «ад» семейной библиотеки. Родители позаботились о том, чтобы провалить все брачные планы дочери. До пятидесяти лет ей не разрешалось выходить из дома без сопровождения дуэньи и слуги, который вышагивал следом в ливрее. В шестьдесят семь лет, осиротев, она решилась отправиться в Неаполь, чтобы посетить могилу Джакомо. На склоне лет Паолина, подобно своей матушке, стала проявлять склонность к жесточайшей экономии. Она проверяла все, вплоть до размеров яиц – для этой цели ей служило то же небольшое металлическое кольцо, каким для этого пользовалась ее родительница. Карло также закончил свой век, впад в постыдную скупость: он давал ссуды под такие грабительские проценты, что в день его погребения сограждане забросали гроб камнями, а потом, открыв его, не отказали себе в удовольствии оттащить труп за бакенбарды.

Между тем слава день ото дня все более ярким светом оза-

ряла того, кто сумел превратить свои физические и душевные страдания в прекрасные стихи: в целом мире не много найдется поэтов, способных сравняться с ним. «Мрачный возлюбленный смерти» – так назвал Леопарди француз Мюссе. В 1848 году, когда страна томила под ярмом, молодые неаполитанцы приходили на могилу Леопарди и вполголоса читали над ней его гимны Свободе. Когда же объединение Италии наконец свершилось, слова этих же песен просились на уста людей, подобных Кардуччи¹⁶⁸: они помнили, что еще детьми с трепетом вчитывались в них. Места, которые Леопарди любил и украсил оправой из бессмертных строк, ныне носят имена, что дал им он. В Реканати можно увидеть холм Бесконечности, в Неаполе – виллу Дрока. Прах поэта был перенесен из церкви Святого Виталия на новое место погребения: он покоится ныне близ маленького древнеримского строения, которое по традиции зовется гробницей Вергилия. Там, на высокой скале, бедный Леопарди нашел наконец ту сверхчеловеческую тишину и тот глубокий, бездонный покой, что почитал лучшими благами жизни.

¹⁶⁸ *Кардуччи Джозуэ* (1835–1907) – поэт, лауреат Нобелевской премии 1907 г.

Шатобриан.

«Замогильные записки»¹⁶⁹

Шатобриан – фигура, которая венчает историю французской литературы XIX столетия наподобие заснеженного горного пика такой высоты, что можно проехать всю страну из конца в конец, не переставая видеть его белеющую на горизонте вершину. Этот человек принимал участие во всех событиях самого драматического периода во французской истории. Явившись на свет у слияния двух веков, по рождению он принадлежал старому режиму, но тяготел к революции по своей беспокойной, дерзкой, любящей свободу натуре. Он служил Бонапарту и победил Наполеона¹⁷⁰, приложил руку к реставрации Бурбонов, а потом проклял их за неблагодарность. Он радовался падению Карла X, а затем сохранял неизменную верность его семье. Он прожил в точности столько, чтобы успеть в 1848 году увидеть крах Июльской монархии, которая была ему ненавистна, и предсказать грядущую революцию, сулящую Европе невиданно глубокие перемены.

В литературу он привнес новый стиль, обновив и сам

¹⁶⁹ Перевод И. Васюченко.

¹⁷⁰ Шатобриан служил в период, когда Наполеон был первым консулом (1803–1804) и перешел в оппозицию незадолго до провозглашения его императором.

строй чувств. Альбер Тибоде¹⁷¹, один из ведущих знатоков французской словесности, различает в ней два основных течения – Стендаля и Шатобриана, первое он назвал манерой лейтенанта, второе – манерой виконта. Стендаль в прозе идет следом за Вольтером и является предшественником Валери. Шатобриан тоже пережил мимолетное увлечение Вольтером, но главным учителем для него стал Боссюэ, а истинные его последователи – Баррес¹⁷², Мориак, Флобер и Пруст. «Облака, то сворачивая, то раскидывая свои белоснежные покрывала, странствовали в безграничных пространствах сверкающего, как атлас, неба, рассыпались в небесном эфире легкими хлопьями или стелились слоями белой, пронизанной светом ваты, столь приятной глазу, что их мягкость и упругость были ощутимы почти на ощупь». Эта фраза Шатобриана никого бы не удивила, появись она в «Поисках утраченного времени».

Его огромное влияние в трех областях – литературе, политике, религии – продержалось в течение полувека. В эпоху, когда Франция так часто меняла и режим, и идеалы, сама персона Шатобриана, должно быть, приводила современников в некоторое замешательство. «Ему были присущи, – как заметил Сент-Бёв, – неизбежная неуравновешенность, порывистость, малопонятная для прозаических натур, мнящих себя положительными. Это красноречивое благочестие,

¹⁷¹ *Тибоде Альбер* (1874–1936) – литературовед и критик.

¹⁷² *Баррес Морис* (1862–1923) – писатель и политик-националист.

это молитвенное обращение к христианству в самом разгаре борьбы честолюбий, среди политических баталий и погонь за наслаждением, эта странная мечтательность и вечная меланхолия Рене, снова и снова пробивавшаяся сквозь пышность парадных венков, эти частые у него восклицания о свободе, о юности и о грядущем, которые вырываются из тех же самых уст, что и признания в любви к великолепию древних ритуалов королевского двора и к рыцарственному духу, – всего этого более чем достаточно, чтобы сбить с толку честные умы, с трудом пытавшиеся найти объяснение какой-либо из терзающих его проблем...»

И тут Сент-Бёв добавляет, что, «если не считать кое-каких неожиданных деталей», цельность прекрасной жизни господина де Шатобриана превосходно выписана на протяжении стольких лет, однако в самом этом словосочетании «на протяжении стольких лет» сквозит коварство. Сент-Бёв отнюдь не жаловал Шатобриана. Когда речь заходила о великом человеке, он под бдительным взором мадам Рекамье¹⁷³ не чувствовал себя вполне свободным в своих высказываниях. «Исподтишка, – признавался он, – я ощущаю себя цикадой, которая вынуждена петь в пасти льва». Однако Шатобриан и сам осознавал то, о чем не осмеливался говорить Сент-Бёв. Будучи проницательным актером, исполняющим главную роль в собственной драме, он хотел творить свою

¹⁷³ Рекамье Жанна Франсуаза Жюли Аделаида де (1777–1849) – хозяйка литературно-политического салона.

жизнь как совершенную эпопею. Но как человек, наделенный всеми человеческими слабостями, он сумел превратить в живой шедевр только ее отдельные краткие эпизоды. Ему оставался единственный шанс: создать из этой жизни то, чем она являлась далеко не всегда, – поэму.

Такая поэма существует: это «Замогильные записки».

I

Чтобы увидеть их такими, как мечталось Шатобриану, надо прочитать это произведение в великолепном издании господина Мориса Левайана¹⁷⁴. Там четко выверено разделение текста на главы, части, книги, там особенно ощущается чередование временных пластов настоящего и прошлого, придающее повествованию такую живость и выпуклость. Начиная со своего первого пребывания в Риме, то есть с 1803 года, Шатобриан задумал написать рассказ о трех пережитых прекрасных годах, о времени, когда произошел поворот его судьбы к славе и любви вместо жалкого существования. Но к созданию окончательной версии рукописи он приступил в купленном им «домике садовника» близ Парижа, среди лесистых холмов так называемой Волчьей долины. Тотчас наметилось и чередование временных пластов. Шатобриан вспоминает свою обитель, окружавшие его деревья:

¹⁷⁴ *Левайан Морис* (1883–1961) – поэт и критик.

«Этот ландшафт мне нравился, он заменил мне родные поля, и я пытался воздать им должное, населив их созданиями мечты, пришедшими из бессонных ночей. Здесь я написал „Мучеников“, „Абенсерагов“, „Путевые заметки“ и „Моисея“. Чем я займусь теперь, в осенние вечера? 4 октября 1811 года – годовщина моего рождения и въезда в Иерусалим, это искушает меня именно сегодня начать историю моей жизни...» Тирания Наполеона в тот момент душит его, обрекая на одиночество. Но: «Когда император подавляет настоящее, прошлое бросает ему вызов, и я остаюсь свободным, говоря о том, что предшествовало его славе». Таковы причины, заставившие Шатобриана погрузиться в воспоминания, – совершенно естественное побуждение.

С 1811 по 1814 год он писал две первые книги то в Волчьей долине, то в Дьепе. Затем наступил период молчания, и он вернулся к своей рукописи уже в 1817-м в замке Монбуа-сье. За минувший период империя пала: «Огромные развалины обрушились на мою жизнь подобно римским руинам, низвергнутым в русло неведомого потока...» Шатобриан повидел вблизи немало коронованных особ, его политические иллюзии рассеялись. И вот он снова, фактически оказавшись в немилости, испытывает от своей опалы нечто вроде горького, мрачного удовольствия. Здесь мы встречаем пассаж, который восхищал Пруста, напоминая ему, как он сам вызывал к жизни призраки былого: «Меня оторвало от моих размышлений пение дрозда, сидевшего на верхушке березы. Этот ча-

рующий звук пробудил во мне образ родного поместья. Я забыл о катастрофах, очевидцем которых мне пришлось быть, и, перенесенный внезапно в прошлое, вновь увидел поля, где так часто слушал свист дрозда. Внимая ему тогда, я ощущал грусть, подобную сегодняшней. Но та, первая грусть породила во мне лишь смутное желание никогда не испытанного счастья. Пение птицы в кобургских лесах дало мне предощущение счастья, которое, как я верил, рано или поздно придет. Пение в парке Монбуасье напомнило мне о днях, потерянных в поисках счастья, оказавшегося неуловимым...» За этим пассажем следуют восхитительные описания Кобурга.

Он продолжил свой рассказ, уже будучи послом в Берлине, одиноким, печальным обитателем своей резиденции. Затем мы перескакиваем в 1822 год, в Лондон, где отблески, которые прошлое бросает на настоящее, приобретают характер фантастический. Шатобриан испытывает наивное удовольствие, высаживаясь на английский берег под приветственный гром пушки, пускаясь в путь в экипаже, запряженном четверкой белых лошадей, читая в своем паспорте: «Свободный пропуск его милости виконту де Шатобриану, пэру Франции, королевскому послу при его величестве короле Британии». Это тем приятнее, что 17 мая 1793 года в его удостоверении человека скромного и неизвестного было написано: «Франсуа де Шатобриан, французский офицер армии эмигрантов», а сам он должен был делить куда более дешевый экипаж с несколькими матросами. «С каким сожалением

нием, — вздыхает он теперь, — думал я среди моей ничтожной пышности об этом мире, полном терзаний и слез, о временах, когда я был в стане несчастных и делил с ними все невзгоды...» Но так ли он сожалел об этом? Ведь, если присмотреться, можно увидеть, что ему было очень весело, он гордился тем, что сам выковывал свою необычную судьбу. «Я всем обязан только тому, что нес в себе, когда пришел сюда». И это была правда.

Судя по всему, должность посла оставляла писателю больше досуга, чем иные занятия: именно в Лондоне, равно как и в Берлине, Шатобриан много трудился над своими «Записками». Там он довел до конца рассказ о путешествии в Америку, об эмиграции и пребывании в Англии. К 1826 году существовала уже и окончательная версия «Воспоминаний детства и юности», соответствующая тому, что мы сегодня находим в первой части «Записок». Позже автор поймет, что его история естественным образом распадается на четыре части: то, что было пережито до 1800 года в его бытность офицером и, главное, изгнанником, становление его как писателя (с 1800-го по 1815-й), политическая деятельность, занимавшая период с 1815 по 1830 год, и, наконец, начавшаяся для него после Июльской революции «двойная карьера» политического диссидента и литературного патриарха.

Революция лишила Шатобриана возможности продолжать политическую деятельность (иногое решения не допускала его честь), он больше не мог жить так, как любил: актив-

но и с размахом. Зато революция внушила ему желание снова взяться за работу над «Записками», связав их с историей Франции, и, пользуясь волшебной властью своего гения, предстать в глазах грядущих поколений преображенным. В конечном счете он этого добьется и тогда станет перерабатывать все, что было написано ранее. Журнал «Ревю де дёмонд»¹⁷⁵ опубликовал «Предисловие к завещанию», потом заключение к «Будущему мира» и, наконец, 15 апреля 1834 года – отклик Сент-Бёва на первые книги «Записок», чтение которых состоялось в Лесном аббатстве у мадам Рекамье перед узким кружком избранных слушателей:

«В этом салоне, который сам по себе заслуживает отдельного описания, все было подготовлено к тому, чего здесь ждали. Дверь оставалась полуоткрытой для тех, кто запаздывал, в распахнутые окна глядел сокрытый от посторонних монастырский сад со шпалерами цветов. Итак, здесь читали „Записки“ самого прославленного из ныне живущих людей, читали в его присутствии. Но свет увидит их лишь тогда, когда этого человека уже не будет. Глубокая тишина и отдаленный шум, слава в полном расцвете и где-то впереди мавзолей, бурлящий мир и совсем рядом этот удаленный от суеты приют – да, место для этого спектакля было выбрано удачно... Великий поэт сам не читал: может быть, он боялся, что в какой-то миг сердце его не выдержит или голос пре-

¹⁷⁵ «Ревю де дёмонд» – журнал либерального направления, издавался в Париже с 1829 г.; в нем печатались многие писатели-романтики.

рвется от волнения. Но если впечатление совершающегося таинства в какой-то мере бледнело, оттого что мы этого голоса не слышали, зато тем зачарованнее вглядывались в лицо писателя: его массивные черты отражали все оттенки повествования, подобно тому как пробегает по лесным вершинам тень от плывущих облаков».

Восторг охватил слушателей. «Это чтение стало истинным триумфом», – сказал Низар¹⁷⁶. Был выпущен сборничек «Чтение „Записок“ месье де Шатобриана», куда вошли его важнейшие статьи и ранее опубликованные фрагменты воспоминаний. В то время первые двенадцать книг уже были написаны, а еще шесть, повествующие о последнем посольстве (когда в 1833 году он состоял при изгнанном короле)¹⁷⁷, о визитах автора к дофину, о его отношениях с герцогиней Беррийской¹⁷⁸; эти последние шесть книг держались в секрете. Многие друзья Шатобриана наседали на него с уговорами опубликовать хотя бы первую часть. «Я не мог уступить их желанию. Я волей-неволей стал бы менее искренен и правдив. К тому же мне всегда представлялось, что я пишу, сидя в собственном гробу, от этого работа приобретала в ка-

¹⁷⁶ Низар Дезире (1806–1888) – критик и историк литературы.

¹⁷⁷ Имеется в виду Карл X (1757–1836), который после отречения в 1830 г. жил в Англии и в Австрии.

¹⁷⁸ Имеется в виду Людовик, герцог Ангулемский (1775–1844) – старший сын Карла X, последний дофин Франции (1824–1830). Мария Каролина Неаполитанская (Бурбон-Сицилийская), герцогиня Беррийская (1798–1870) – супруга племянника Людовика XVIII и мать претендента на престол графа Шамбора.

кой-то мере религиозный характер, лишиться которого без чувствительного ущерба она бы не могла, мне слишком дорог этот далекий голос, идущий из могилы и слышимый на протяжении всего рассказа, я не мог заглушить его...» Пятнадцать лет после его смерти – таков был срок публикации, назначенный автором.

Но Шатобриан был беден. Чтобы жить, ему приходилось браться за литературную поденщину, хотя он находил такую работу скучной и унижительной. В 1836 году его друзья вместе с книготорговцами Деллуа и Сала организовали товарищество на паях с целью приобрести «Замогильные записки». В этой затее приняли участие и политические деятели, и светские люди. Был установлен размер капитала: восемьсот тысяч франков в виде одной тысячи шестисот акций по пятьсот франков каждая. Шатобриан получал единовременно сто пятьдесят шесть тысяч франков, кроме ежегодной пожизненной ренты в размере двенадцати тысяч, в случае его смерти переходящей в распоряжение госпожи де Шатобриан. Ренту предполагалось увеличить до двадцати пяти тысяч после того, как он передаст товариществу с правом немедленной публикации ту часть «Записок», где речь идет о войне в Испании¹⁷⁹. Для Шатобриана это был великолепный шанс: такой договор обеспечивал ему спокойную старость, тем не менее писатель сетовал на столь неожиданный

¹⁷⁹ *Война в Испании* – вторжение Франции в 1823 г. в Испанию для подавления революции. Шатобриан в это время занимал пост министра иностранных дел.

поворот дела. «Говорят, он совсем выбит из колеи с тех пор, как уплатил свои долги; ему представляется тяжким грузом будущее, заранее определившееся и упорядоченное. Все тетради его „Записок“ были торжественно заперты в его присутствии в сейф нотариуса. Шатобриан сказал, что вместо него самого в тюрьму за долги посажены его мысли...»

Отдав таким образом «свою могилу в залог», он должен был теперь честно исполнить сей посмертный договор. С 1836 по 1839 год он успешно и с жаром дополняет свои «Записки». Вносит правку в историю Империи, приводит в порядок заметки о Реставрации, вчерне набрасывает книгу о мадам Рекамье (впоследствии сильно сокращенную), в 1840–1841-м, работает над общей заключительной частью, которая была завершена «16 ноября 1841 года в шесть часов утра». Затем последовали злключения, которые он предвидел, потому и опасался подписывать договор. В 1844 году товарищество собственников продало господину Эмилю де Жирардену¹⁸⁰, директору «Прессы», право на публикацию отдельных фрагментов «Записок». Шатобриан вознегодовал: «Я тщетно поднимаю крик, что не признаю этой мелочной распродажи, достойной старьевщика, что она меня ужасает, так как убийственна для хорошей литературы». Всякий, кто от рождения хоть сколько-нибудь одарен расположением муз, почувствовал бы себя буквально уничтожен-

¹⁸⁰ Жирарден Эмиль де (1806–1844) – журналист, с 1836 г. издавал дешевую массовую газету «Ла пресс».

ным подобными торгашескими сделками, если только его гений не обладает счастливой способностью противостоять каверзам биржевых процентов. Но никто и слушать не желает. А ведь по нынешним временам даже трагедии Расина и Корнеля и надгробные речи Боссюэ были бы, несомненно, выпущены в свет «лапшой», чтобы их можно было проглотить в один момент, словно блинчики, которые продают всяким шалопаям в капустном листе: «Мальчишки успевают съесть такое кушанье, пробегая через Новый мост»¹⁸¹.

Тогда он снова взялся править рукопись, в который раз устраняя шероховатости, ища новых гармонических словосочетаний. Этой работы он не прекращал до последнего вздоха. Если в череде безотрадных дней возникали просветы, сознание прояснялось, он, молчаливый призрак, уже цепающийся в могильном сне, посвящал эти краткие мгновения своей рукописи. Дрожащей рукой паралитика заменял слишком архаичное слово, вставлял дерзкий эпитет, устранял повтор, вычеркивал лишнюю фразу. Окончательный текст «Записок» он отправил господину Мандару-Вертами, своему душеприказчику, 29 мая 1847 года. На первой странице написал: «Исправлено. Шатобриан».

Виктор Гюго видел эту рукопись 4 июля 1848 года, когда пришел навестить собрата по перу на смертном одре. «В ногах месье де Шатобриана, в углу, образуемом его кроватью

¹⁸¹ Текст цитирован мадам Мари Жанной Дюрри в ее заметках «На полях „Замогильных записок“». — *Примеч. автора.*

и стеной комнаты, стояли один на другом два ящика из сосновых досечек. В том, что побольше, лежал полный манускрипт „Записок“ из сорока восьми тетрадей. В последнее время вокруг больного царил такой беспорядок, что одну из них в то утро месье де Прёй нашел валяющейся в грязном, темном углу, где чистили лампы...»

Текст, который опубликовали душеприказчики, заметно отличался от того, что был одобрен Шатобрианом. Даже издание, вышедшее в 1898 году к пятидесятилетию со дня кончины писателя, благоговейно и с большим знанием дела подготовленное к печати Эдмоном Бире, все еще было далеко от совершенства: издатель, не имея в распоряжении оригинала рукописи, поневоле прибегал к домыслам. Издание Мориса Левайана, лучшее из всех, печаталось в соответствии с одной из двух засвидетельствованных копий – той, которая хранилась (и до сей поры остается) в архиве мэтра Жана Дюфура, внука и преемника мэтра Кауэ, нотариуса товарищества владельцев «Записок», и была сверена с текстом первоначального издания.

II

В чем же тайна неотразимого очарования «Замогильных записок»? Увлеченный читатель не ищет в них картины общественных нравов, хотя они там есть, притом сильные и с блеском выполненные. Шатобриан не являлся Сен-Симо-

ном XIX столетия, да и не хотел им стать. В его книге встречаются портреты, любопытные для историка (в частности, там фигурируют Мальзерб, Виллель, Полиньяк¹⁸², члены королевского дома), но годы, когда Шатобриан ворочал большими делами, протекли быстро, в его жизни наиболее интересна та ее часть, что прошла в опале. Он скорее поэт, нежели мемуарист.

Привлекательность его прозы равным образом не происходит из откровений вроде тех, что способствовали славе Руссо. Шатобриан взял за правило исключать из рассказа о своей жизни ее любовные коллизии. Если он так свободно повествует о госпоже де Бомон¹⁸³, то лишь потому, что ее уже нет в живых. Что до мадам Рекамье, то он вспоминает только о ее идеальной красоте, наложившей отпечаток на всю историю эпохи. В своих «Записках» он воздвигает в ее честь храм, украшает его стены исключительно восторженными цитатами других, сам же претендует не более чем на роль одного из преданных почитателей. О госпоже де Кюстин, госпоже де Ноай и госпоже де Кастеллан¹⁸⁴ он говорит

¹⁸² *Мальзерб Кретьен Гийом де Ламуаньон де* (1721–1794) – либеральный государственный деятель; казнен во время якобинского террора. *Виллель Жан-Батист Гийом Жозеф*, граф де (1773–1854) – консерватор, премьер-министр в 1821–1828 гг. *Полиньяк Жюль Огюст Арсан Мари*, герцог де (1780–1847) – ультрароялист, премьер-министр в 1829–1830 гг.

¹⁸³ *Бомон Полина де* (1768–1803) – возлюбленная Шатобриана.

¹⁸⁴ *Кюстин Дельфина де Сабран*, маркиза де (1770–1826) – возлюбленная Шатобриана в 1802–1805 гг., мать Астольфа де Кюстина, мемуаристка. *Госпожа де*

лишь то, что мог бы сказать платонически влюбленный друг; ни одна страница «Записок» не отдана описанию «восхитительных дней, полных соблазна, очарования и безумств», проведенных с одной из этих дам в Испании.

Нет, красота этой книги – в цельности образа ее главного действующего лица, «стилизованного человека», в сознании которого отражены происходящие события. Характер Шатобриана в «Записках» несет в себе нечто произвольное: его черты упрощены, но подчеркнуты, он предстает одновременно эпическим и романтическим персонажем. Хотя в тексте то тут, то там заметны юмор и лукавство, общая интонация мрачна. Шатобриану с юных лет было свойственно обостренное ощущение тщеты и суетности жизни. «Я был бы лучше, если бы мог к чему-нибудь прилепиться» – это его слова. Но ничто, кроме, может быть, любви и честолюбия, не занимало его надолго, любовь и та никогда не была у него особенно постоянной.

Начиная с выхода в свет «Гения христианства» он был вынужден вечно играть какую-нибудь роль. После убийства герцога Энгиенского¹⁸⁵ и своей наделавшей шуму отставки он облачился в трагическую мантию защитника трона и алтаря. Пафос и риторика вычурными складками облекли его

Ноай – см. примеч. на с. 57. *Кастеллан Корделия*, графиня де (урожд. Греффюль; 1796–1847) – возлюбленная Шатобриана.

¹⁸⁵ *Луи Антуан Анри де Бурбон-Конде, герцог Энгиенский* (1772–1804) – принц крови, расстрелянный по приказу Наполеона. После этого события Шатобриан в знак протеста ушел в отставку с поста первого секретаря посольства в Риме.

мысль, которая более не терпела голой правды. Только друзья и любовницы еще узнавали в нем того приятного молодого человека, которого Жубер и госпожа де Бомон называли Чародеем. Лишь в «Записках» кое-где прорываются наружу милое добродушие и юмор писателя, который свысока посмеивается над напыщенностью героя. Разлад, производимый смесью горестной меланхолии и насмешливого изящества, создает у Шатобриана то своеобразие стиля, что заставляет нас так хорошо понимать Полину де Бомон, которая говорила: «Он играет, как на клавесине, на всех струнах моей души».

Но глубинная суть его мироощущения остается печальной, и книга построена на трагических темах. Первая из них – смерть. Шатобриану нравится рассуждать о том, что его кончина близка, и он без конца распространяется о могиле. «Я щедр, словно осужденный, которому жить осталось всего час и он раздает то, что больше никогда ему не понадобится. В Лондоне жертва, идущая на виселицу, продает свою шкуру за выпивку, я за свою ничего не требую, даром отдаю ее могильщикам». Да и заканчивается книга опять-таки упоминанием о смерти: «Мне остается только присесть на край могилы, а затем я смело спущусь в нее с распятием в руках и обрету вечность...»

Влечение к горестям идет у него рука об руку с влечением к смерти. «Вернитесь, прекрасные дни моих страданий, моего одиночества! Разразитесь, желанные грозы!», «Про-

щаяся с лесом Ольне, я вспомню, как некогда расставался с кобургским лесом, все мои дни суть прощания». Эти чувства владели им с рождения, «с того дня, когда мать навязала мне жизнь...». Продолжалось это и в детские годы: «Едва родившись, я уже слышал разговоры о смерти». Всю жизнь Шатобриану доставляло удовольствие говорить о своих страданиях. Казалось, он всегда готов был кричать о них: «По милости Божией мои несчастья больше, чем я надеялся!» Ему нравилось быть обиженным, бедным, гонимым, опальным, видеть, как гибнет все, что он любил. Зато от слишком продолжительного счастья он бы впал в уныние. Однажды в пору изгнания одна молодая англичанка упрекнула его: «Вы выставляете напоказ свое разбитое сердце». Как Вертер, как Адольф Бенжамена Констана, как сенанкуровский Оберман¹⁸⁶, как шатобриановский же герой Рене, повествователь с горьким наслаждением демонстрирует миру свои тоску и отчаяние, задавая тон поколению своего времени.

Когда приходит старость, он горюет, но и упивается теми великолепными причинами для вздохов и стенаний, которые она обеспечивает: «Лишенный будущего, я больше не могу предаваться мечтам. Чуждый новым поколениям, я кажусь им нищим в пыльных лохмотьях...» Ему нравится воображать себя чем-то наподобие старых бродяг Гомера, под руби-

¹⁸⁶ *Констан Бенжамен* (1867–1830) – французско-швейцарский писатель, публицист, политик, автор автобиографического психологического романа «Адольф» (1816). *Сенанкур Этьен Пивер де* (1770–1846) – писатель и философ, автор романа «Оберман» (1804).

щем которых, возможно, скрывается бог или царь. Разве он не странствовал по морям и землям, подобно сыну Лаэрта, разве не уносили его морские течения, не прельщало пение сирен? Оказавшись в Венеции, где другие ищут света, золота, ярких красок, он подался напрямик на кладбище: «На черепахе еще сохранилось немного волос цвета тутовых ягод. Бедный старый гондольер! Управлял ли ты по крайней мере своей лодкой лучше, чем я своей?» В шатобриановском Рене есть что-то от Гамлета, а сам писатель к концу жизни смахивает на Лира, также склонного воспринимать старость как трагедию: «Я словно зритель, сидящий в покинутом зале, с опустелыми ложами, при погасших свечах, остался один во всем мире перед опущенным занавесом в молчании ночи...»

Чередую темы небытия и гордыни, Шатобриан сознает, что есть величие в фигуре его отца, в силуэте родового замка Кобург, в феодальном укладе, воспринимаемом как добровольное заточение. Он с удовольствием дает понять, что с детских лет честь и даже любое конкретное дело чести стало святыней его жизни. В Наполеоне он видит достойного врага и за это испытывает к нему чувство признательности. Он не говорит, что родился в один год с Бонапартом, а выражается так: «В год, когда я родился, родился Цезарь...» Или в другом месте: «Я появился на свет двадцатью днями позднее Бонапарта. Он привел меня за собой...» Тем не менее он здесь путает дату рождения Бонапарта, ошибаясь на год. Еще ему нравится думать, что император тайно побывал

в Волчьей долине и оставил в парке свою перчатку – то ли знак уважения, то ли вызов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.